



Уильям Фолкнер

William Faulkner

Когда я умирала
Святылище

Йокнапатофская сага

Уильям Катберт Фолкнер

Когда я умирала. Святилище

«Издательство АСТ»

1930, 1931

УДК 821.111-32(73)

ББК 84(7Coe)-44

Фолкнер У.

Когда я умирала. Святилище / У. Фолкнер — «Издательство АСТ», 1930, 1931 — (Йокнапатофская сага)

ISBN 978-5-17-157158-0

«Когда я умирала» – роман-одиссея о десяти днях из жизни фермеров Бандренов, которые собрались на похороны матери семейства Адди. Уникальность произведения заключается в том, что в нем нет ни слова авторской речи. Весь сюжет представляет собой цепь монологов четырнадцати персонажей, среди которых и незабываемый монолог самой Адди... «Святилище» – роман, который вызвал настоящий литературный скандал. Одни критики называли его «греческой трагедией с детективным сюжетом», а другие обвиняли в аморальности и непристойности. Наглый и отчаянный парень из низов – и скучающая красавица-аристократка, ставшая его жертвой. Представитель «старой школы» честных адвокатов – и нервный юный интеллеktуал, ищущий истину в вине. Все эти герои расставлены Фолкнером, словно фигурки на шахматной доске, которым предстоит сыграть партию в сложной и жестокой игре под названием «жизнь»...

УДК 821.111-32(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-157158-0

© Фолкнер У., 1930, 1931

© Издательство АСТ, 1930, 1931

Содержание

Когда я умирала	6
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Уильям Фолкнер

Когда я умирала. Святилище

William Faulkner

As I Lay Dying

Sanctuary

© William Faulkner, 1930, 1931

© Copyright renewed by William Faulkner, 1957, 1958

© Перевод. Д. Вознякевич, наследники, 2021

© Перевод. В. Голышев, 2023

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

* * *

Когда я умираю

Дарл

Мы с Джулом идем тропинкой через поле, друг за другом. Я впереди на пять шагов, но, если посмотреть от хлопкового сарая, видно будет, что растрепанная и мятая соломенная шляпа Джула – на голову выше моей.

Тропа пролегла прямо, как по шнуру, ногами выглаженная, июлем обожженная, словно кирпич, между зелеными рядами хлопка, к хлопковому сараю, огибает его, сломавшись четырьмя скругленными прямыми углами, и дальше теряется в поле, утоптанная и узкая.

Хлопковый сарай сложен из нетесаных бревен, замазка из швов давно выпала. Квадратный, с просевшей односкатной крышей, пустой, сквозной и ветхий, он клонится под солнцем, и оба широких окна его смотрят из супротивных стен на тропинку. Я сворачиваю перед сараем и огибаю его по тропинке. Джул сзади в пяти шагах, глядя прямо перед собой, вошел в окно. Он глядит прямо вперед, светлые глаза будто из дерева на деревянном лице, и, в четыре шага пройдя сарай насквозь, негнувшийся и важный, как деревянный индеец на табачном киоске, неживой выше пояса, выходит через другое окно на тропинку, как раз когда я выхожу из-за угла. Друг за другом в двух шагах, – только теперь он первым, – мы идем по тропинке к подножию обрыва.

Повозка Талла – у родника, привязана к перилам, вожжи захлестнуты за сиденье. В повозке два стула. Джул останавливается у родника, снимает с ивовой ветки тыкву и пьет. Я миную его и, поднимаясь по тропинке, слышу, как пилит Кеш.

Когда я выхожу наверх, он уже перестал пилить. Стоит в стружках и примеряет одну к другой две доски. Между теньями они желтые, как золото, мягкое золото, на них плавные ложбины от тесла: хороший плотник Кеш. Он опер обе доски на козлы, приставив к начатому гробу. Стал на колени и, прищуря один глаз, смотрит вдоль ребра, потом снимает доски и берет тесло. Хороший плотник. Лучшего гроба и пожелать бы себе не могла Адди Бандрен. Ей там будет спокойно и удобно. Я иду к дому, а вслед мне: тюк, – тесло Кеша. – Тюк. Тюк.

Кора

Ну вот, подкопила яиц я и вчера испекла. Пирогі удались на славу. Куры нам – большое подспорье. Они хорошо несутся – те, которых оставили нам опоссумы и прочие. Змеи еще, летом. Змея разорит курятник быстрее кого угодно. А раз обошлись они нам гораздо дороже, чем думал мистер Талл, и я обещала разницу покрыть за счет того, что они несутся лучше, мне приходилось яйца экономить, – ведь я же настояла на покупке. Мы могли бы взять кур подешевле, но мисс Лоуингтон советовала завести хорошую породу – я и пообещала, тем паче мистер Талл сам говорит, что коровы и свиньи хорошей породы в конце концов окупаются. А когда мы столько кур потеряли, самим пришлось от яиц отказаться, – не слушать же мне от мистера Талла попреки, что это я настояла на покупке. Тут мне мисс Лоуингтон сказала о пирогах, и я подумала, что могу испечь и зараз получить чистой выручки столько, сколько стоили бы еще две куры вдобавок к нашим. Если откладывать по яйчку, то и яйца ничего не будут стоить. А в ту неделю они особенно неслись, и, кроме продажных, я и на пироги скопила, и сверх того столько, что и мука, и сахар, и дрова для плиты нам как бы даром достались.

Вот вчера я испекла – и уж так старалась, как ни разу в жизни, на славу пироги удались. Нынче утром привозим их в город, а мисс Лоуингтон говорит, что та дама передумала и гостей звать не будет.

– Все равно должна была взять, – говорит Кэт.

– Ну, – говорю, – на что они ей теперь?

– Должна была взять. – Кэт говорит. – Конечно, богатая городская дама, ей что? – захотела и передумала. Это бедным нельзя.

Богатство – ничто перед лицом Господа, потому что Он видит сердце.

– Может, в субботу на базаре продам, – говорю. – Пироги удались на славу.

– Можешь получить за них по два доллара, – говорит Кэт.

– Да они мне, можно сказать, ничего не стоили. Яйца я накопила и обменяла дюжину на муку и сахар. Так что пироги, можно сказать, ничего не стоили, и мистер Талл сам понимает: отложила я сверх того, что на продажу, – можно считать, нашли их или в подарок получили.

– Должна была взять пироги, – говорит Кэт, – ведь она все равно что слово тебе дала.

Господь видит сердце. Если так Он захотел, что у одних людей одно понятие о честности, а у других другое, то не мне Его волю оспаривать.

– Да на что они ей? – говорю. А пироги удались на славу.

Одеялом накрыта до подбородка, наружу только голова и руки. Она лежит на высокой подушке, чтобы смотреть в окно, и каждый раз, когда он берется за пилу или топор, мы его слышим. Да и оглохни, кажется, а взглянуть только на ее лицо – все равно услышишь его и почти что увидишь. Лицо у нее осунулось, кожа обтянула белые валики костей. Глаза истаявают, как два огарка в чашечках железных подсвечников. Но вечной благодати нет на ней.

– Пироги удались на славу. – Я говорю. – Но Адди пекла лучше.

А как девчонка стирает и гладит, – если это и вправду глаженое, – видно по ее наволочке. Может, хоть тут поймет свою слепоту – когда слегла и жива только заботами и милостями четверых мужчин и сорванца-девчонки.

– У нас тут никто не умеет печь, как Адди Бандрен, – говорю. – Оглянуться не успеем, как она встанет на ноги, примется печь, и тогда нашустряпню никому не сбудешь.

Бугорок от нее под одеялом не больше, чем от доски, и, если бы не шелест шелухи в матрасе, нипочем не догадаться, что дышит. Даже волосы у щеки и те не колыхнутся, хотя девчонка стоит прямо над ней и обмахивает веером. У нас на глазах, не переставая махать, поменяла руку.

– Уснула? – спрашивает Кэт.

– На Кеша смотреть не может, – говорит девчонка.

Слышим, как вгрызается в доску пила. С храпом. Юла повернулась на сундуке и смотрит в окно. Красивые на ней бусы и к красной шляпе идут. Не скажешь, что стоили всего двадцать пять центов.

– Должна была взять пироги, – говорит Кэт.

Деньги эти я бы с толком употребила. А пироги мне, кроме работы, можно считать, ничего не стоили. Скажу ему: промашка у каждого может случиться, но не каждый, скажу, выйдет после нее без убытка. Не все, скажу, могут съесть свои ошибки.

Кто-то идет по передней. Это Дарл. Прошел мимо двери, не заглянув, и скрывается в задней части дома. Юла смотрит на него, когда он проходит. Рука у нее поднялась, трогает бусы, потом волосы. Заметила, что я за ней наблюдаю, и сделала пустые глаза.

Дарл

Папа и Вернон сидят на задней веранде. Оттянув двумя пальцами нижнюю губу, папа ссыпает за нее молотый табак с крышки табакерки. Они обернулись и смотрят на меня, а я перехожу веранду, опускаю тыкву в кадку с водой, пью.

– Где Джул? – спрашивает папа.

Еще мальчишкой я понял, насколько вкуснее вода, когда постоит в кедровой кадке. Прохладно-теплая и отдает жарким июльским ветром в кедровой роще.

Она должна постоять хотя бы часов шесть, и пить надо из тыквы. Из металла никогда не надо пить.

А ночью она еще вкусней. Я лежал на тюфяке в прихожей, ждал, и, когда они все засыпали, вставал и шел к кадушке. Кадушка черная, полка черная, гладь воды – круглый проем в ничто, и, пока не зарябилась от ковша, видишь звезду-другую в кадке и в ковше звезду-другую, пока не выпил. Потом я подрос, повзрослел. Ждал, чтобы уснули, и лежал, задрав подол рубашки, слышал, что спят, осязал себя, хотя не трогал себя, чувствовал, как веет прохладная тишь на мои члены, и думал: не занят ли этим же в темноте Кеш, не занялся ли этим года за два до того, как я захотел заняться.

У папы ноги растоптанные, пальцы кривые, корявые, гнутые, а мизинцы совсем без ногтей, – оттого что мальчишкой подолгу работал в сырых самодельных туфлях. Его башмаки стоят возле стула. Как будто вырублены из чугуна тупым топором. Вернон был в городе. Чтобы он поехал в город в комбинезоне, я ни разу не видел. Говорят: это все жена. Тоже была когда-то учительницей.

Я выплеснул опивки из ковша на землю и утерся рукавом. К утру дождь пойдет. А то еще и до ночи.

– В хлеву, – отвечаю. – Запрягает мулов.

С конем своим он возится. Пройдет через хлев на выгон. Коня не видно: он в сосновых посадках, в холодке. Джул свистит, пронзительно, один раз. Конь всхрапывает, и Джул видит его: мелькнул, весело лоснясь, среди синих теней. Джул опять свистит; конь ссыпается по склону, упираясь передними ногами; острыми ушами прядет, разноцветными глазами водит – и остановился боком к Джулу, шагах в десяти, глядит на него через плечо, в игривой и настороженной позе.

– Давай-ка сюда, почтенный, – говорит Джул. И срывается с места. Стремительно: полы отлетели назад, треплются языками, как пламя. Развевая гриву и хвост, вскидываясь и кося глазом, конь отбегает недалеко и снова останавливается, собрав ноги; смотрит на Джула. Джул медленно идет к нему, не шевеля руками. Если бы не двигались ноги Джула, эти две фигуры на солнце – как живая картина.

Когда Джул подходит к коню почти вплотную, конь взвизгивает на дыбы и норовит ударить его копытами. Джул заключен в поблескивающий копытный лабиринт, словно обнят прозрачными крыльями; между ними, под закинутой грудью, он движется со взрывчатой гибкостью змеи. За миг до того, как рывок отдастся в его руках, он видит со стороны свое тело, вытянувшееся над землей в змеином всхлесте; поймал ноздри коня и снова стоит на земле. Застыли в неимоверном напряжении: конь будто пятится, и бедра его вздрагивают от натуги; Джул, вросший ногами в землю, душит коня, одной рукой захватив ноздри, а другой часто и ласково гладит его, осыпая грязной, яростной бранью.

Длится миг неимоверного напряжения; конь дрожит и стонет. Но вот Джул у него на спине. Сгорбясь, взвился в воздух, словно бич, и еще в полете приладил тело к коню. Мгновение конь стоит, расставив ноги, с опущенной головой, потом бросается вскачь. Джул высоко,

как пиявка на холке, а конь тяжелыми прыжками несется вниз по склону и, засеменя, останавливается перед изгородью.

– Ну, – говорит Джул, – хватит, если наигрался.

В хлеву Джул соскакивает на ходу. Конь входит в стойло, Джул за ним. Не оглянувшись, конь пробует лягнуть его, и копыто с пистолетным грохотом ударяет в стену. Джул пинает его в брюхо; конь, оскалась, поворачивает голову; Джул бьет его по морде кулаком, потом, проскользнув вперед, вскакивает на корыто. Держась за ясли, он опускает голову и смотрит поверх перегородок в дверь. На тропинке никого, отсюда не слышно даже пилы Кеша. Он тянется вверх, торопливо стаскивает охапками сено и наталкивает в ясли.

– Жри. Ну-ка живее подметай, гад толстопузый, пока не отняли. Сучёнок мой хороший, – говорит он.

Джул

Все потому, что он торчит под самым окном, пилит, колотит по чертову ящику. У нее на глазах. И каждый вздох ее полон этого стука и ширканья, и все у нее на глазах, а он долбит ей: «Видишь? Видишь, какой хороший тебе строю?» Я ему сказал, чтобы перешел на другое место. «Ты что, ей-богу, вколотить ее туда хочешь?» – говорю. Вот так же раз, когда он был мальчишкой, она сказала: «Было бы удобрение, я цветы бы посадила», – а он взял хлебный противень и принес из хлева полный навозу.

И эти теперь расселись, как стервятники. Ждут, обмахиваются. Я сказал: «Ну что ты стучишь и пилишь, человеку уснуть невозможно», – а у нее руки на одеяле – будто выкопал кто два корешка, помыть хотел, да не отмываются. Вижу веер и руку Дюи Дэлл. Дай ей покой, говорю. Стучат, и пилят, и воздух над лицом гоняют, так что усталому человеку вдохнуть некогда, и тесло это чертово знай себе: щепку долой. Щепку долой. Щепку долой, – чтобы каждый прохожий на дороге остановился, посмотрел и сказал: какой хороший плотник. Моя бы воля, когда Кеш упал с церкви или когда на отца воз дров свалился и он лежал хворал – моя бы воля, не было бы такого, чтобы каждая сволочь в округе приходила поглазеть на нее, потому что если есть Бог, то на кой тогда Он нужен. Были бы я и она, двое, на горе, и я бы камни катил им в морду, подбирал и бросал с горы, в морду, в зубы, куда попало, ей-богу, пока она не успокоилась бы и не стучало бы чертово тесло: щепку долой. Щепку долой, и мы успокоимся.

Дарл

Смотрим, как он огибает угол и поднимается по ступенькам. На нас не глядит.

– Готов? – спрашивает.

– Если ты запряг, – отвечаю. Говорю: – Погоди.

Стал, смотрит на папу. Вернон сплевывает, не шевелясь. Сплевывает с чинной неторопливостью, прицельно, в рябую пыль под верандой. Папа потирает колени. Глядит куда-то за обрыв, на равнину. Джул посмотрел на него еще немного, потом идет к ведру и снова пьет.

– Пуще всех не люблю нерешенного дела, – говорит папа.

– Это же три доллара, – говорю я.

Рубашка на горбу у папы выгорела сильнее, чем в других местах. Пота у него на рубашке нет. Ни разу не видел потного пятна у него на рубашке. Ему было двадцать два года, и он заболел оттого, что работал на солнце, а теперь объясняет всем, что если еще раз вспотеет – умрет. По-моему, сам в это верит.

– Но если она отойдет, до того как вернетесь, – говорит папа, – ей будет обидно.

Вернон сплевывает в пыль. А дождь к утру пойдет.

– Она рассчитывала на это, – говорит папа. – Она захочет ехать сразу. Я ее знаю. Я ей обещал, что упряжка будет на месте, и она на это рассчитывает.

– Три доллара нам тогда сильно пригодятся. – Я говорю.

Он глядит на равнину и потирает колени. С тех пор как у папы выпали зубы, он будто медленно жуёт губами, когда опускает голову. Из-за щетины он напоминает лицом старую собаку. Я говорю:

– Ты поскорей решай, чтобы мы до темноты туда успели и погрузились.

– Мама не такая плохая. – Джул говорит. – Не болтай, Дарл.

– В самом деле, – говорит Вернон. – Сегодня она больше на себя похожа – за всю неделю такой не была. Когда вы с Джулом вернетесь, она уж сидеть будет.

– Тебе лучше знать, – говорит Джул. – То и дело ходите, смотрите. То ты, то родня твоя.

Вернон смотрит на него. У Джула на румянном лице глаза будто из светлого дерева. Он на голову выше нас всех, всегда был выше. Я им говорю, что поэтому мама его и лупила больше и баловала. Потому что слонялся по дому больше всех. Потому, говорю, и Джулом¹ назвала.

– Не болтай, Джул, – говорит папа, словно и не особенно прислушивался. Он глядит на равнину и потирает колени.

– Ты можешь одолжить упряжку у Вернона, а мы тебя догоним. – Я говорю. – Если она нас не дождетя.

– Хватит ерунду-то болтать, – говорит Джул.

– Она захочет ехать на своей, – говорит папа. Он трет колени. – Пуще всех не люблю.

– Все потому, что лежит и смотрит, как Кеш стругает чертов... – говорит Джул. Говорит грубо, со злостью, но самого слова не произносит. Так мальчишка буянит в темноте, распаляет в себе храбрость, и вдруг затих, своего же шума испугался.

– Она сама этого хотела – и на повозке тоже на своей хочет, – говорит папа. – Ей покойней будет знать, что он хороший и притом свой. Она всегда была щепетильной женщиной. Сам знаешь.

– Свой так свой, – говорит Джул. – Только кто тебе сказал, что он... – Джул смотрит папе в затылок, и глаза у него будто из светлого дерева.

– Да нет, – вступает Вернон, – она продержится, пока Кеш не кончит. Продержится, пока всё не приготовят, пока срок ей не придет. А дороги сейчас такие, что вы ее одним духом домчите.

– Дождь собирается, – говорит папа. – Я невезучий человек. Всю жизнь невезучий. – Он потирает колени. – Доктор того и гляди заявится, будь он неладен. Не мог я его раньше известить. Приехал бы завтра, сказал, что срок подходит, – она бы ждать не стала. Я ее знаю. Есть повозка, нет повозки – ждать не стала бы. Тогда бы она огорчилась, а я ее огорчать не хочу ни за что на свете. Родные ее похоронены в Джефферсоне и ждут ее там, – понятно, ей будет невтерпеж. Я ей слово дал, что мы с ребятами доставим ее туда без проволочек, лишь бы мулы не подвели, – пускай не беспокоится. – Он потирает колени. – Не люблю нерешенного дела.

– Да что вам неймется? – грубо, со злостью говорит Джул. – И Кеш круглый день у ней под окном пилит и стучит по...

– Она сама так хотела, – говорит папа. – Ни любви, ни жалости к ней у тебя нету. И не было никогда. Мы с ней ни у кого одалживаться не станем. Не одалживались сроду, и ей спокойней спать, когда знает это, знает, что ее родная кровь напилит доски и забьет гвозди. Она всегда за собой убирала.

– Три доллара ведь, – я говорю. – Ну, ехать нам или не ехать? – Папа потирает колени. – Завтра к вечеру вернемся.

¹ Jewel – драгоценность, сокровище (англ.).

– Ну... – говорит папа. Волосы торчат вбок, он смотрит на равнину и медленно переталкивает табак из-за щеки за щеку.

– Пошли, – говорит Джул. Спускается с веранды. Вернон аккуратно сплевывает в пыль.

– Только чтобы к вечеру, – говорит папа. – Я не хочу, чтобы она ждала.

Джул оглянулся и сворачивает за дом. Я иду в прихожую и до самой ее двери слышу голоса. Дом наш немного наклонился под гору, и сквозняк в прихожей дует всегда с подъемом. Бросишь перо у входа, его подхватит, вынесет к потолку, отгонит к черной двери, и там оно попадет в нисходящий ток; то же самое – с голосами. Войдешь в прихожую, и они будто над головой у тебя, в воздухе говорят.

Кора

Никогда не видела такой душевности. Он словно чувствовал, что больше ее не увидит, что Анс Бандрен прогонит его от материнского смертного одра и на этом свете им больше не свидеться. Я всегда говорила, что Дарл не такой, как они. Что он один у них пошел в мать, один знает, что такое привязанность. Не чета Джулу, – а уж кого еще, кажется, она так трудно носила, так нежила и баловала и столько терпела от его скандального угрюмого характера, кто еще так изводил ее своим озорством – на ее бы месте я поролла его почем зря. И не пришел к ней попрощаться. Не упустить бы лишние три доллара – а что мать не поцеловала напоследок, так Бог с ней. Бандрен до мозга костей, никого не любит, ни до кого дела нет – только смотрит, где бы чего урвать, да поменьше утруждаясь. Мистер Талл говорит, что Дарл просил их подождать. Чуть не на коленях, говорит, умолял не отсылать его, когда она в таком состоянии. Куда там – ведь Ансу с Джулом надо выручить три доллара. Кто знает Анса, ничего другого и ждать не мог, но подумать, что отступится Джул, любимый сын, ради которого она себя забывала столько лет... Меня не обманешь: мистер Талл говорит, что она любила Джула меньше всех, но я-то знаю. Знаю, любила больше всех – за то же самое, за что терпела Анса Бандрена, хотя его отравить бы стоило, как говорит мистер Талл, – и нате, из-за трех долларов не поцеловался с матерью напоследок.

А я последние три недели приходила при всякой возможности, да и когда не было ее, приходила, в ущерб своей семье и обязанностям, чтобы хоть кто-нибудь при ней побыл в последние минуты, хоть чье-нибудь знакомое лицо поддержало в ней дух перед лицом Великого Неведомого. Я не жду похвалы за это: я надеюсь, что и ко мне отнесутся так же. Но, слава Богу, это будут лица моих родных и любимых, моя плоть и кровь, потому что посчастливилось мне с мужем и детьми, как мало кому, хоть и тяжело с ними порой приходилось.

Одинокая женщина, одиноко жила, гордо, не показывала виду, скрывала, что ее только терпят, – ведь еще тело ее в гробу не остыло, а они уже повезли ее за сорок миль хоронить, презрев волю Божию. Не положили рядом со своими Бандренами.

– Она сама велела отвезти, – говорит мистер Талл. – Хотела лежать со своими родственниками.

– Так почему живая туда не поехала? – спрашиваю. – Никто бы ее не удерживал – вон и младший у них подрастает, скоро станет бессердечным эгоистом, как остальные.

– Она сама хотела. Анс при мне говорил.

– А ты и рад поверить. Похоже на тебя. Да брось.

– Поверю – тому, о чем промолчавши, он никакой выгоды от меня не получит.

– Да брось. – Я сказала. – Живая она или мертвая, место женщине – при муже и детях. Придет мой час, захочу я, по-твоему, уехать обратно в Алабаму, брошу тебя с дочерьми – если я уехала оттуда по своей воле, чтобы делить с тобой радость и горе до самой смерти и после?

– Ну, люди разные.

– Да уж, надо думать. Я старалась жить праведно перед Богом и людьми, к чести и утешению моего мужа-христианина и чтобы заслужить любовь и почтение моих детей-христиан. В смертный час я буду знать, что исполнила долг, и меня ждет награда, и окружать меня будут любящие лица, их последний поцелуй я унесу с собой. Не буду умирать одна, как Адди Бандрен, пряча свою гордость и разбитое сердце. Радоваться смерти. Лежать на подушках и смотреть, как Кеш строит гроб, следить, чтобы не сляпал наспех, чего доброго – ведь они только об одном волнуются: успеть бы еще три доллара выручить, пока дождь не зарядил, река не поднялась, пока можно на тот берег переправиться. Если бы не задумали везти последнюю подводку, так, чего доброго, перенесли бы ее на одеяле в повозку, переправили через реку и там бы стали ее смерти ждать, христиане.

А Дарл – нет. Никогда не видела такой душевности. Бывает, что я перестаю верить в людей, меня одолевают сомнения. Но всякий раз Господь оживляет во мне веру, показывает свою великую любовь к своей твари. Не Джул, хотя она с ним нянчилась. Нет, Дарл – тот, про кого говорят, что он чудной, что лентяй и слоняется без дела, как Анс, а вот, мол, Кеш у них хороший плотник – всегда за столько дел берется, что кончить ничего не может, а у Джула один интерес: как бы заработать да чтобы люди о нем говорили; а полуголая девчонка эта все стояла над Адди с веером и, если кто хотел с ней заговорить, подбодрить ее, сразу вместо нее отвечала, как будто не хотела людей к ней подпускать.

Нет. Дарл. Он подошел к двери, встал там и посмотрел на умирающую мать. Только посмотрел, и я опять почувствовала великую любовь Господню и Его милость.

Я поняла, что с Джулом она только притворялась, а по-настоящему любили и понимали друг друга – она и Дарл. Он только посмотрел на мать, но не зашел, чтобы она его не увидела и не расстроилась: он ведь знал, что Анс отсылает его, и больше им не свидеться. Не сказал ничего, только посмотрел.

– Чего тебе, Дарл? – спросила Дюи Дэлл, а сама веером машет и говорит быстро – даже его не хочет подпускать. Он не ответил. Стоял и смотрел на умирающую мать, говорить не мог от сильного чувства.

Дюи Дэлл

Первый раз мы с Лейфом собирали хлопок. Папа не потеет, потому что умрет, если опять заболит, и, кто приходит к нам, все помогают. А Джулу все трын-трава, наших забот знать не хочет, по заботе не родной. А Кеш будто распиливает долгие желтые грустные дни на доски и к чему-нибудь прибавляет. И папе дознаться некогда, занят тем, что соседей к работе приставляет вместо себя, потому что, думает, соседи так и должны всегда друг к другу относиться. Я думала, и Дарл вряд ли узнает – сидит за ужином, глаза глядят куда-то за еду и за лампу, в глазах полно земли, выкопанной из головы, а ямы заполнены далью, что дальше земли.

Мы шли по ряду, собирали, лес и укромная тень все ближе, собирали в мой мешок и в мешок Лейфа, все ближе к тени. Я сказала: соглашусь или не соглашусь – это когда мешок наполовину полон, а если к лесу станет полон, тогда уже не моя воля. Сказала, если нельзя мне, так мешок не будет к лесу полон, я поверну на новый ряд, а если полон будет, так воля не моя. Тогда я вроде как должна, и это не в моей воле. И мы собирали, шли к укромной тени, и глаза наши нет-нет да посмотрят в одну сторону, то на его руки, то на мои, а я ничего не говорила. «Что ты делаешь?» – я говорю, а он: «Собираю в твой мешок». И он стал полон к концу ряда, значит, воля не моя.

Ну и случилось, раз воля не моя. Там и случилось, а потом я увидела Дарла, и он знал. Сказал без слов: «Я знаю», – как теперь сказал без слов, что мама умрет, и я поняла, что он знает, как если бы словами сказал: «Знаю», я бы не поверила, что он там был и видел. А он сказал, что не знает, и я сказала: «Папе хочешь доложить, убить его хочешь?» – без слов

сказала, а он без слов сказал: «Зачем?» Вот почему я могу злиться с ним без слов и ненавидеть за то, что знает.

Стал в дверях и смотрит на маму.

– Чего тебе, Дарл? – Я спрашиваю.

– Она умрет. – Он говорит. И входит старый ворон Талл поглядеть, как она умирает, но их я могу обмануть.

– Когда она умрет? – Я спрашиваю.

– До того, как вернемся.

– Тогда зачем берешь Джула?

– Чтобы грузить помог.

Талл

Анс потирает колени. Комбинезон на нем выгорел; на колене шерстяная заплатка из воскресных брюк, заносилась до железного блеска.

– Пуще всех не люблю, – говорит он.

– Человеку иногда надо вперед заглядывать, – говорю я. – А если не мудрить долго – что так, что этак, большого урона не будет.

– Она захочет ехать сразу. До Джефферсона и по хорошей погоде не близко.

– Дорога-то сейчас сухая. – Я говорю.

– Однако ночью дождь будет. Его родню хоронят у Новой Надежды – туда меньше трех миль. Но на то он и Анс, чтобы взять жену из такого места, докуда добрый день езды, и чтобы она умерла у него.

Он смотрит на равнину и потирает колени.

– Пуще всех не люблю.

– Они свободно обернутся. Тут и волноваться нечего.

– Три доллара как-никак, – говорит Анс.

– А может, им и назад будет не к спеху. Хочется так думать.

– Она отходит, – говорит Анс. – Она решила.

Тяжелая жизнь у женщин, верно. У некоторых. Моя мама, скажу, умерла на восьмом десятке. Работала каждый день, в дождь и в вёдро, ни дня не хворала с тех пор, как родила последнего – а потом вроде огляделась вокруг, пошла, взяла ночную рубашку с кружевом, сорок пять лет пролежавшую в сундуке и ненадёванную, надела, легла на кровать, натянула одеяло и глаза закрыла. «Вам теперь за отцом ухаживать. – сказала. – Старайтесь. Устала я».

Анс потирает колени.

– Господь дал, – говорит он.

Слышим, как пилит и стучит за домом Кеш.

Правда. Истинней слова не молвил никто.

– Господь дал, – говорю я.

По склону поднимается их мальчик. Несет рыбу чуть ли не с себя ростом. Бросил на землю, крикнул, сплюнул в сторону, как взрослый. Чуть ли не с него, здорова.

– Это что? – говорю. – Кабан? Где поймал?

– Под мостом, – отвечает. Перевернул ее: на мокрый бок налипла пыль, глаз – как шишка, заклеен грязью.

– Так и будет здесь лежать? – спрашивает Анс.

– Маме показать хочу, – говорит Вардаман. Он смотрит на дверь. Ветер доносит до нас оттуда голоса. И стук Кеша. – У ней там гости, – говорит мальчик.

– Да нет, это мои, – говорю я. – Им тоже интересно посмотреть.

Он молчит и смотрит на дверь. Потом глядит на рыбу в пыли. Переворачивает ее ногой и тычет большим пальцем в глаз. Анс смотрит на равнину. Вардаман смотрит на лицо Анса, потом на дверь. Поворачивается, отходит к углу дома, и тогда Анс, не оглянувшись, окликает его:

- Почисть рыбу.
- А Дюи Дэлл не может почистить? – спрашивает он.
- Почисть рыбу, – говорит Анс.
- Ну, пап.
- Ты почисть, – говорит Анс. Он не обернулся.

Вардаман возвращается и поднимает рыбу. Она выскальзывает у него из рук, смазывает его мокрой грязью и шлепается в пыль: рот разинут, глаза выпучены, зарылась в пыль, словно стыдится, что она мертвая, и хочет поскорей зарыться в пыль. Вардаман ругает ее, ругает как взрослый, расставив над ней ноги. Анс не оборачивается. Вардаман поднимает рыбу. Он уходит за дом, неся ее на руках, как дрова, и она свешивается по обе стороны – голова и хвост. Чуть не с него ростом.

У Анса руки торчат из рукавов: всю жизнь на нем рубашки будто с чужого плеча, ни разу не видел, чтобы впору. Как будто Джул отдает ему свои донашивать. Но рубашки не Джула. Он рукастый, хоть и на жердь похож. А рубашка не пропотелая. Из-за этого можно сразу определить, что Ансова и больше ничья. Глаза его похожи на два выгоревших угля и смотрят на равнину. Когда тень доходит до крыльца, он говорит:

- Пять часов.

Только я встал, из дома выходит Кора и говорит, что пора ехать. Анс потянулся за туфлями.

- Не надо, мистер Бандрен, – говорит Кора, – не вставайте.

Он ступил в туфли – втопнул – он все так делает: будто надеется, что все равно ничего не выйдет и не стоит даже пытаться. Мы идем в прихожую, и они грохочут, как чугунные. Он подходит к ее двери, моргает глазами, словно вперед себя заглядывает, туда, где не видно, – словно надеется, что она там будет сидеть, к примеру, на стуле или пол подметать, и заглядывает в дверь удивленно, – он так всякий раз заглядывает и удивляется, что она еще лежит, а Дюи Дэлл обмахивает ее веером. И стал, словно не намерен больше двигаться и вообще ничего не намерен.

- Ну, нам пора, пожалуй, – говорит Кора. – Надо еще курам насыпать.

А дождь, однако, будет. Такие облака не врут, а хлопок поспекает с каждым божьим днем. Еще одна ему забота. Кеш все притесывает доски.

- Если понадобится, – говорит Кора.
- Анс нам сообщит, – говорю я.

Анс на нас не смотрит. Он озирается, моргает, удивленно как всегда – словно весь измучился от удивления и даже этому удивляется. С моим бы амбаром Кешу так постараться. Говорю:

- Я сказал Ансу, что, может, еще и не понадобится. Хочется так думать.
 - Она решила, – отвечает Анс. – Видно, отойдет.
 - Теперь насчет кукурузы, – говорю я. И еще раз обещаю помочь, если не управится – при больной жене и прочем. Как многие по соседству, я уже столько ему помогал, что теперь бросать поздно.
 - Хотел сегодня ею заняться, – говорит он. – Да как-то решиться ни на что не могу.
 - Может, она продержится, пока убираешь, – говорю я.
 - На то воля Божья, – отвечает Анс.
 - Да утешит Он тебя, – говорит Кора.
- С моим бы амбаром Кешу так постараться. Мы идем мимо, и он поднимает голову.

- Видать, на этой неделе я к тебе не выберусь.
- Не к спеху, – говорю я. – Приходи, как сможешь.
- Садимся в повозку. Кора ставит на колени коробку с пирогами.
- Не знаю, что он будет делать, – говорит Кора. – Прямо не знаю.
- Бедный Анс, – говорю. – Тридцать с лишним лет заставляла его работать. Утомилась, верно.
- И еще тридцать лет не отстанет, – говорит Кейт. – А не она, так другую найдет, раньше, чем хлопок поспеет.
- Теперь Кешу с Дарлом и жениться можно, – говорит Юла.
- Бедный парень, – говорит Кора. – Бедный мальчик.
- А Джулу? – спрашивает Кэт.
- И ему можно, – отвечает Юла.
- Хм. – Кэт говорит. – Я думаю, почему не жениться? Я думаю, тут многие девушки опасаются, как бы Джула не окрутили. Ничего, пусть не волнуются.
- Будет тебе! – говорит ей Кора. Повозка затарахтела. – Бедный парень, – говорит Кора. Дождь будет ночью. Как пить дать. Повозка тарыхтит – большая сушь. Но это пройдет у ней.
- Должна была взять пироги, раз условились, – говорит Кэт.

Анс

Черт бы взял эту дорогу. Да еще дождь собирается. Прямо вижу его отсюда, вижу, встает позади них стеной, встает между ними и моим твердым обещанием. Делаю, что могу – когда могу решиться, но черт бы взял этих ребят.

Под самой дверью пролегла, по ней несчастья шлепаются, и всякое непременно к нам завернет. Стали ее к нам вести, я сказал Адди, что не годится жить на дороге, – а у женщины известно какой ответ: «Так поднимайся, переезжай». Говорю ей, что не годится это, потому что Господь сделал дороги для передвижения, почему и положил их лежа на землю. Что двигаться должно, то Он сделал вдлинь – ту же дорогу, или телегу, или лошадь, а что на месте быть должно, то Он сделал торчмя – к примеру, дерево или человека. Не судил Он человеку на дороге жить. – Ведь что чего раньше, я говорю, дорога или дом? Ты видала ли когда, чтобы Он проложил дорогу возле дома? Никогда не видала, говорю, потому что человек до тех пор не успокоится, пока не поставит дом в таком месте, чтобы из каждой проезжей телеги могли плюнуть ему в дверь, чтобы людям не сиделось, сняться с места хотелось, переехать, – а Он их сделал для того, чтобы места держались, как дерево или кукуруза. Если бы Он хотел, чтоб человек всегда передвигался и кочевал, разве не положил бы его вдлинь, на брюхо, как змею? Надо думать, положил бы.

Так провели, чтобы несчастье бродячее мимо не прошло, в мою дверь заглянуло, да еще придавили налогом. Деньги плати за то, чтобы Кеш забрал себе в голову плотничать – а если бы не провели дорогу, он бы плотничать не надумал; чтобы с церковью падал и полгода рукой шевельнуть не мог, а мы с Адди за него отдувались – да стругай ты дома сколько влезет, коли так надо.

И с Дарлом тоже. Отдать его уговаривают. Я работы не боюсь: и себя кормил, и семью, и крыша над головой была; но ведь работника хотят отнять потому только, что в чужие дела не лезет, что глаза земли полны все время. Я им говорю: сначала он был ничего, а глаза полны земли, так ведь и земля тогда на месте стояла; а вот когда дорога подошла и землю продоль повернула, а глаза все равно полны земли, они и начали мне грозить, что заберут, по закону отнимут работника.

И еще деньги плати за это. Она здоровая и крепкая была, поискать такую, – да все эта дорога. Прилегла только на своей постели отдохнуть, ничего ни от кого не просит.

– Захворала, Адди? – Я спросил.

– Не захворала, – говорит.

– Полежи, отдохни. Я знаю, что не захворала. Устала просто. Полежи, отдохни.

– Не захворала, – говорит. – Я встану.

– Лежи себе, – я говорю, – отдыхай. Устала просто. Завтра встанешь.

И лежала себе, здоровая и крепкая, поискать такую, да все эта дорога.

– Я тебя не вызывал, – говорю. – Будь свидетелем, что я тебя не вызывал.

– Не вызывал, – говорит Пибоди. – Подтверждаю. Где она?

– Она прилегла. – Я говорю. – Приустала она, но...

– Анс, поди отсюда. – Он сказал. – Посиди-ка на веранде.

А теперь деньги плати за это, когда во рту ни одного зуба, а еще поднакопить думал, чтобы зубы вставить, чтобы хлеб Господень жевать по-людски, и она здоровая и крепкая – поискать такую – до самого последнего дня. За то плати, что три доллара тебе понадобились. За то плати, что ребятам теперь за ними ехать надо. И прямо вижу, как дождь стеной встает между нами, как прет к нам по этой дороге, словно дурной человек, словно не было на земле другого дома, куда ему пролиться.

Слышал я, как люди проклинали свою долю, – и не зря проклинали, потому что грешные были люди. А я не скажу, что наказан, потому что зла не делал и наказывать меня не за что. Я человек не религиозный. Но душа моя покойна; это я знаю. Всякое делал; но не лучше и не хуже тех, что притворяются праведниками, и знаю, Старый Хозяин порадует обо мне, как о той малой птице, которая падает. А все-таки тяжело, что человек в нужде терпит столько уязвлений от дороги.

Из-за дома выходит Вардаман, перепачкался как свинья, с ног до головы в крови, а рыба там небось топором раскромсана, а то и просто брошена на землю, чтобы собаки сожрали. Да и ждать ли от мальчика другого, чем от его взрослых братьев? Подходит молча, глядит на дом и садится на ступеньку.

– Ух, – говорит, – до чего устал.

– Поди руки вымой. – Я говорю.

Адди ли не старалась правильно их воспитать, и больших и маленьких? Этого у ней не отнимешь.

– Кишок и кровищи в ней, что в свинье. – Он говорит. А у меня что-то душа ни к чему не лежит, да еще эта погода давит. – Пап, – он говорит, – мама еще хуже расхворалась?

– Поди руки вымой, – говорю я. Но и приказываю-то словно без души.

Дарл

На этой неделе он был в городе: затылок подстрижен, а белая полоска между волосами и загаром похожа на сустав белой кости. Ни разу не оглянулся.

– Джул, – говорю.

Бежит навстречу дорога между двумя парами мулых ушей и утягивается под повозку, лентой мотается на катушку передних колес.

– Ты знаешь, что она умирает, Джул?

Чтобы родить тебя, нужны двое, а чтобы умереть – один. Вот как кончится мир.

Я спросил Дюи Дэлл:

– Хочешь ее смерти, чтобы в город попасть, верно? – Про что оба знаем, она молчит. – Потому молчишь, что если скажешь, хоть про себя, тогда поймешь, что так и есть, верно? Все равно ведь знаешь, что так и есть. Я тебе чуть ли не день назову, когда ты поняла. Почему

не скажешь-то, хоть про себя? – Молчит. Одно твердит: «Папе хочешь доложить? Убить его хочешь?» – А почему не можешь поверить, что так и есть? Не можешь поверить, что Дюи Дэлл, Дюи Дэлл Бандрен оказалась такой невезучей – вот почему, верно?

Солнцу час до горизонта, лежит на тучах, как кровавое яйцо; свет стал медным: глазу – зловещий, носу – серный, пахнет молнией. Когда Пибоди приедет, ему спустят веревку. В пузо весь пошел от холодных овощей. Станут втаскивать его по тропе на веревке: как воздушный шар в серном воздухе.

– Джул, – говорю, – ты знаешь, что Адди Бандрен умирает? Адди Бандрен умирает?

Пибоди

Когда Анс послал за мной сам, я сказал: «Укатал ее наконец». Ее счастье, говорю, – и поначалу не хотел ехать: а вдруг еще не поздно помочь, вытащу ее, не дай Бог. Может, там на небе, думаю, та же дурацкая этика, что у нас в медицинском колледже, а вызывает меня, должно быть, Вернон Талл – в последнюю минуту по своему обыкновению, чтобы побольше получить за свои деньги; впрочем, сегодня – за деньги Анса. А позже, когда почувствовал, что погода ломается, понял, что вызывать мог только Анс, больше никто. Кому еще, кроме неудачника, понадобится врач перед самым циклоном? И подумал, что если и до Анса уже дошло, что нужен врач, значит, уже поздно.

Подъехал к роднику, слезаю, привязываю упряжку, а солнце скрылось за черной грядой туч, точно за вспухшим горным хребтом, – точно угли туда высыпали; и ветра нет. Пилу Кеша я услышал за целую милю. Анс стоит на краю обрыва, над тропинкой. Спрашиваю:

– Где конь?

– Да Джул-то уехал, – отвечает он. – А больше никто его не поймает. Пешком придется подниматься.

– Сто килограммов весу во мне – и подниматься? По этой стене подниматься?

Он стоит под деревом. Жаль, ошибся Господь, давши деревьям корни, а Бандренам – ноги. Сделал бы наоборот, и никто бы теперь не тревожился, что наша страна обезлесеет. Или еще чья-нибудь страна.

– Ты чего от меня хочешь? – Я спрашиваю. – Чтобы я здесь стоял, и меня в другой округ сдуло, когда эта туча разверзнется?

Тут и верхом-то четверть часа ехать – через выгон, потом наверх, потом к дому. Тропинка похожа на кривой сук, прибитый к обрыву. Анс не был в городе двенадцать лет. И как только мать его поднялась туда родить? Истинно, сын своей матери.

– Вардаман несет веревку, – говорит он.

Немного погодя появляется Вардаман с веревкой. Конец дает Ансу, а сам спускается по тропинке и разматывает.

– Крепче держи. – Я говорю. – Этот визит я в журнал уже записал, так что, если не поднимусь, счет тебе все равно представлю.

– Держу, – говорит Анс. – Можно подыматься.

Черт его знает, почему я не брошу. Семьдесят лет, сто кило весу, а меня на веревке таскают вверх и вниз по горе. Потому, наверно, не бросаю, что должен догнать до пятнадцати тысяч долларов неоплаченные визиты в моем журнале.

– Какого черта твоя жена придумала, – я говорю, – заболеть на вершине горы?

– Виноваты, – говорит он.

Он отпустил веревку, просто бросил и пошел к дому. Тут, наверху, еще не совсем стемнело, небо – цвета серных спичек. Доски похожи на полоски серы. Кеш не обернулся. Вернон Талл говорит, что каждую доску он показывает ей в окно, чтобы она одобрила. Нас нагоняет мальчик. Анс оглянулся на него:

– Где веревка?

– Там, где ты ее бросил, – говорю я. – И пусть лежит. Мне еще надо спуститься с обрыва. Я не хочу, чтобы буря меня здесь застигла. Попадешься тут – унесет к чертовой матери.

Дочь стоит у кровати и машет веером. Когда мы входим, Адди поворачивает голову и смотрит на нас. Она уже десять дней мертвая. Оттого, что столько лет была частью Анса, наверно, и не проявляется перемена, – а может, и перемены нет. Помню, в молодости я думал, что смерть – явление телесное; теперь я знаю, что она всего лишь функция сознания – сознания тех, кто переживает утрату. Нигилисты говорят, что она – конец; ретивые протестанты – что начало; на самом деле она не больше, чем выезд одного жильца или семьи из города или дома.

Адди смотрит на нас. Кажется, что только глаза сохранили подвижность. Они будто трогают нас, но не зрением, не мыслью, а так, как трогает тебя вода из шланга, – настолько отъединенная от наконечника в миг прикосновения, что будто и не из него вышла. Адди совсем не смотрит на Анса. Смотрит на меня, потом на мальчика. Маленькая под одеялом, как связка гнилых хворостин.

– Ну, мисс Адди, – говорю я. Девушка все машет веером. – Как ты, милая? – Изможденное лицо на подушке; смотрит на мальчика. – Хорошо ты придумала – затащить меня сюда и бурю устроить.

Потом я отсылаю Анса с мальчиком. Она провожает мальчика глазами. Только глаза и двигаются.

Когда я выхожу, оба на веранде, мальчик сидит на ступеньках. Он поворачивает ко мне лицо, моргает.

– Почему ты раньше меня не вызвал? – спрашиваю Анса.

– Да то одно, то другое. Кукурузу вот хотели с ребятами убрать, а Дюи Дэлл за ней ухаживает, и люди навещают, предлагают помочь, – а теперь подумал...

– Черт с ними, с деньгами. – Я говорю. – По-твоему, я когда-нибудь торопил безденежного человека?

– Да не денег я жалею. Я что думал?.. Она ведь отходит?

Сидит на ступеньке чертов малец и еще меньше кажется в желтом свете. Вот в чем беда нашей страны: все тут, и погода, и что ни возьми, – держится слишком долго. И реки и земля наша: неясные, медлительные, буйные, создают и кроют людскую жизнь по неумолимому и хмуromу образу своему.

– Я ведь понимаю, – говорит Анс. – По всему убеждаюсь. Она решила.

– И слава Богу. – Я говорю. – С никчемным...

Он сидит, не шевелясь, на верхней ступеньке, маленький, в выцветшем комбинезоне. Когда я вышел, он посмотрел на меня, потом на Анса. А сейчас на нас не смотрит. Сидит, и все.

– Ты ей сказал? – спрашивает Анс.

– Зачем? На кой дьявол?

– Она догадается. Я знал: увидит тебя и догадается, как прочтет. Тебе и говорить незачем. Она реши...

За спиной у нас голос дочки: «Пап». Я смотрю на нее, на ее лицо. И говорю:

– Иди скорее.

Когда мы входим в комнату, она глядит на дверь. Глядит на меня. Глаза пылают, точно лампы перед тем, как кончится керосин.

– Она хочет, чтоб вы ушли, – говорит дочка.

– Ну как это, Адди? – говорит Анс. – Он из Джефферсона ехал тебя лечить.

Она глядит на меня; я физически чувствую ее взгляд. Он как будто выталкивает меня. Я видел такое у женщин. Видел, как гонят из комнаты тех, кто пришел с сочувствием и жалостью, с действенной помощью, и льнут к никчемному животному, которое видело в них только выучную лошадь. Вот что такое для них любовь, превосходящая разумение: гордыня, исступ-

ленное желание прикрыть жалкую наготу, которое мы приносим с собой в мир, и несем в операционные, и упрямо, исступленно уносим с собою в землю. Я выхожу из комнаты. За верандой с храпом режет доску пила Кеша. Через минуту она окликает его, резко и громко:

– Кеш! Иди, Кеш!

Дарл

Папа стоит у кровати. Из-за его ноги выглядывает Вардаман, круглоголовый, с круглыми глазами и приоткрытым ртом. А она смотрит на папу; вся ее иссякающая жизнь выливается через глаза – упорно, необратимо.

– Она Джула хочет, – говорит Дюи Дэлл.

– Что ты, Адди, – говорит папа, – они с Дарлом повезли еще одну подводу. Думали, что успеют. Что ты их дождешься – это же три доллара и... – Он умолкает и кладет ладони ей на руки. Она смотрит на него без укоризны, вообще без всякого выражения, словно одними глазами слушает навеки умолкающий его голос. Потом приподнимается на кровати – хотя десять дней лежала не шевелясь. Дюи Дэлл наклоняется, хочет ее уложить.

– Ма, – говорит она. – Ма.

Мама глядит в окно; там Кеш, согнувшись над доской, трудится в потемках, трудится в темноте, словно ход пилы сам освещает ей дорогу, доска и пила – его порождение.

– Кеш, – кричит она резким, сильным, здоровым голосом. – Иди, Кеш!

В сумерках он оглядывается на худое лицо, обрамленное окном. В этой картине составилось для него все время, начиная с детства. Он роняет пилу и показывает ей доску, глядя на неподвижное лицо в оконной раме. Подтягивает вторую доску и прикладывает к первой так, как они будут сбиты, а потом показывает на те, что еще лежат на земле, и свободной рукой рисует в воздухе будущий гроб. Она смотрит на него с этой составной картины, не осуждая, не одобряя. Потом лицо скрывается.

Она ложится и поворачивает голову, не взглянув на папу. Смотрит на Вардамана; жизнь хлынула из глаз, два пламени сильно вспыхнули на мгновение. И гаснут, словно кто-то наклонился к ним и задул.

– Мама, – говорит Дюи Дэлл. – Мама!

Нагнулась к ней, но не прикасается руками, и, продолжая махать веером, как все эти десять дней, она начинает голосить. Ясный, сильный молодой голос вибрирует, он словно зачарован собственной громкостью и тембром, а веер машет ровно вверх-вниз и с шелестом гонит ненужный воздух. Потом она бросается к матери на колени, обхватывает ее и трясет с неистовой молодой силой, а потом вдруг расплывается на связке гнилых костей, которые оставила от себя Адди Бандрен, и кровать отзывается на толчок долгим шушуканьем шелухи в матрасе; руки у нее раскинуты, и веер в одной еще колышется, вея последними вздохами на одеяло.

Из-за папиной ноги выглядывает Вардаман с широко раскрытым ртом; вся краска стекает с его лица ко рту, словно он ухитрился вонзить зубы в свое тело и выпивает кровь. Он медленно пятится от кровати; глаза у него круглые, бледное лицо растворяется в сумраке, как клочок бумаги, прилепленный к ветхой стене, – и пропадает за дверью.

Папа нагибается над кроватью; в его сгорбленном силуэте – что-то от совы: взъерошенное возмущение, под которым прячется мудрость настолько глубокая или косная, что даже не родит мысли.

– Черт бы их взял, ребят, – говорит он.

Джуд, говорю я. Над головой пластом несется серый день, затмевает солнце полетом серых копий. Под дождем чуть курятся спины мулов, залепанные желтой грязью, и правый, скользя и вскидывая круп, хочет удержаться на обочине над канавой. Торчат блестящие темно-желтые доски, промокившие и тяжелые как свинец; почти стоймя торчат из канавы

над лопнувшим колесом; мимо поломанных спиц и мимо щиколоток Джула мчится желтый поток – ни воды, ни земли, заворачивает вместе с желтой дорогой, ни земляной, ни водяной, и растворяется в курящемся темно-зеленом месиве – ни земли, ни неба. Джул, говорю я.

Кеш с пилой подходит к двери. Папа стоит у кровати, сгорбясь и свесив руки. Его невзрачный профиль сминается вниз, когда он разгоняет по деснам табак.

– Она умерла, – говорит Кеш.

– Вот, покинула нас, – говорит папа. Кеш не смотрит на него. – Много тебе осталось? – спрашивает папа. Кеш не отвечает. Он входит с пилой. – Ты там займись, а? Ребята-то уехали, надо навалиться.

Кеш смотрит на ее лицо. Совсем не слушает папу. К кровати не приближается. Остановился посреди комнаты, пила у ноги, потные руки припорошены опилками, лицо сосредоточенно.

– Если не поспеешь, может, кто приедет завтра, пособят, – говорит папа. – Верно мог бы.

Кеш не слушает. Смотрит на ее покойное, застывшее лицо, а оно сливается с сумерками, словно темнота – предвестница могильной земли, и кажется уже, что оно отделилось, парит само по себе, легко, как отражение мертвого листа.

– Христиане тут найдутся, помогут тебе, – говорит папа.

Кеш не слушает. Немного погодя он поворачивается и, не взглянув на папу, выходит. И снова захрапела пила.

– Они помогут нам в нашем горе, – говорит папа.

Звук пилы, ровный, уверенный, неторопливый, будоражит гаснущий свет дня, так что с каждым ходом пилы ее лицо будто слегка оживает – прислушивается, ждет, считает ходы. Папа смотрит на ее лицо, на рассыпавшиеся черные волосы Дюи Дэлл, на раскинутые руки и веер в одной из них, теперь неподвижный на темном одеяле.

– Собирай-ка ужинать, – говорит он.

Дюи Дэлл не пошевелилась.

– Поднимайся, ужин ставь, – говорит папа. – Нам силы понадобятся. И доктор Пибоди небось проголодался с дороги. И Кешу поесть поскорей да опять за работу, чтобы не было задержки.

Дюи Дэлл рывком поднимается, смотрит на лицо. Оно похоже на меркнувшую бронзовую маску, и только руки еще хранят подобие жизни – корявое, скрюченное, бездеятельное; силы уж нет, но как бы осталась готовность; еще не стерлась печать усталости и труда, словно и сейчас руки еще не вполне уверовали в успокоение: мозолистые и убогие, настороженно охраняют отдых, который не будет долгим.

Дюи Дэлл наклоняется, вытаскивает из-под рук одеяло и накрывает мать до подбородка, разглаживает, одергивает одеяло. Потом, не взглянув на папу, огибает кровать и выходит из комнаты.

Она пойдет туда, где стоит Пибоди, остановится в сумерках и будет смотреть ему в спину, а он, почувствовав ее взгляд, обернется и скажет: «Я бы не стал убиваться. Она была старая и больная. Мы даже не представляем себе, как она мучилась. Поправиться она не могла. Вардаман уже подрастает, и ты сумеешь за ними присмотреть. Убиваться не надо. Поди-ка лучше собери ужин. Особенно не старайся. Но поесть им надо». – А она скажет взглядом: захотели бы, так помогли мне. Если б знали. Я это я, вы это вы, и я знаю, а вы не знаете, а знали бы – помогли, если б захотели, а если б захотели, то я бы вам открылась, и никто бы ничего не знал, кроме вас, меня и Дарла.

Папа стоит над кроватью, свесив руки, сгорбленный, неподвижный. Поднимает руку к голове, ерошит волосы, слушает пилу. Подходит ближе, вытирает руку о штанину – и ладонь и тыльную сторону – и кладет ей на лицо; а потом на бугорок, где лежат ее руки под одеялом. Он трогает одеяло, хочет расправить у шеи, как Дюи Дэлл, и только хуже сминает. Снова пробует

расправить, но неловко, – рука, словно птичья лапа, разглаживает морщины, а они появляются, как назло, повсюду, и тогда он сдаётся, опускает руку, трет о бедро – ладонь и тыльную сторону. В комнате слышен мерный храп пилы. Папа дышит тихо, с присвистом, переталкивая во рту табак.

– Исполнится воля Божья, – говорит он. – Зубы теперь вставлю.

У Джула шляпа свесилась на шею, сливает воду струйкой на мокрый мешок, повязанный вокруг плеч; в канаве, по щиколотку в воде, он поддевает скользкой доской, опертой на гнилой обрубок, ось повозки. Джул, говорю я. Она умерла, Джул. Адди Бандрен умерла.

Вардаман

И я бегу. В черную дверь, до края веранды и останавливаюсь. Плачу. Я чувствую место в пыли, где лежала рыба. Теперь она разрезана на куски нерыбы, а на руках и штанах у меня – некровь. Тогда этого не было. Не случилось. А теперь она далеко ушла, и мне ее не догнать.

Деревья похожи на кур, что купаются в прохладной пыли жарким днем. Если спрыгну с веранды, окажусь там, где была рыба, а она теперь вся разрезана в нерыбу. Я слышу кровать и ее лицо, и их, чувствую, как пол дрожит под ногами у этого – который приехал и все сделал. Приехал и сделал – она была живая, а он приехал и сделал.

– Гад пузатый.

Прыгаю с веранды и бегу. В сумерках скатом надо мной – крыша хлева. Если прыгну, пролечу насквозь, как розовая женщина в цирке – в теплый запах, и ждать не надо. Руки сами хватаются за кусты: из-под ног осыпается земля и камушки.

Но вот я снова могу вдохнуть – теплый запах. Вхожу в стойло, пробую тронуть его и уже могу плакать, меня рвет с плачем. Когда он кончит лягаться, я смогу, тогда смогу плакать, плач сможет.

– Он ее убил. Он ее убил.

Жизнь в нем бежит под кожей, под моей рукой, под пятнами пробегает, пахнет, и тошнота начинает плакать, выташнивает плач, и я уже могу вздохнуть, выташнивая это. Шума получается много. Я чувствую жизнь, текущую в меня через ладони и вверх по рукам, и теперь я могу выйти из стойла.

Не могу найти. Темнота, пыль, стены, – и не могу найти. Много шума оттого, что плачу. И зачем столько шума. Потом нашел под навесом для повозки, в пыли, и бегу через двор на дорогу, а палка прыгает у меня на плече.

Я подбегаю, а они следят за мной, рвутся с привязи, храпят, лупят глаза, натягивают ремень. Я бью. Слышу, как бьет палка; вижу, как бьет по головам, по лямке, или мимо, когда они дергают, но я рад.

– Ты маму убил!

Палка сломалась, они дергают и храпят, копыта громко бьют по земле; громко, потому что будет дождь и воздух пустой перед дождем. Но она еще длинная. Они бросаются и натягивают вожжу, а я бегаю за ними и бью.

– Ты ее убил!

Я бью, они кружат на длинной привязи, дрожки кружат на двух колесах; они неподвижны, словно прибиты к земле, и лошади неподвижны, словно их задние ноги прибиты к вертящейся тарелке.

Я бегу в пыли. Ничего не вижу, бегу, пыль в глазах, и дрожки исчезают на двух колесах. Я бью, палка ударяет по земле, отскакивает, взбивает пыль, бьет по воздуху, пыль тянет вдоль по дороге быстрее, чем от машины. И теперь я могу плакать, смотрю на палку. Она сломана у самой руки – длиной с полешко, а была длинная. Я бросаю ее и теперь могу плакать. Теперь шума не так много.

Корова стоит в дверях конюшни, жует. Увидела меня на дворе и замычала; шлепает зеленою во рту, шлепает языком.

– Не буду тебя доить. Ничего для них делать не буду.

Прохожу мимо и слышу, что она повернулась. Я обернулся: дышит на меня сзади душисто, жарко, сильно.

– Сказал тебе, не буду.

Она тычется в меня, сопит. Мычит из нутра, с закрытым ртом. Я отмахиваюсь, ругаю ее, как Джул.

– Пошла.

Наклоняюсь, опускаю руку к земле и бегу на нее. Она отскакивает, бросается прочь, потом останавливается, следит за мной. Мычит. Уходит на тропинку и стоит там, глядит на тропинку.

В хлеву темно, тепло, тихо и пахнет. Могу плакать тихо и смотрю на холм.

Кеш идет на холм, хромает, – с церкви упал. Смотрит вниз, на родник, потом на дорогу и назад, на хлев. Припадая на ногу, идет по тропинке и смотрит на порванную вожжу, на дорожную пыль и вдаль на дорогу, куда утянулась пыль.

– Ага, небось уже дом Талла пробежали. Дом Талла пробежали.

Кеш повернулся и захромал по тропинке.

– Гад. Я ему показал. Гад.

Я уже не плачу. Я ничего. К холму подходит Дюи Дэлл и зовет меня. «Вардаман». Я ничего. Я тихо. «Эй, Вардаман». Теперь могу плакать тихо, чувствую и слышу слезы.

– Тогда этого не было. Еще не случилось. Вон где она лежала, на земле. А теперь она будет ее жарить.

Темно. Слышу лес, тишину: я их знаю. Но звуки неживые – и его тоже. Словно темнота лишила его цельности, разъяла на составные части – храпы, топы, запахи остывающего тела и аммиачные волосы; обманчивое видение связанного целого из пятнистой шкуры и крепких костей, внутри которого отдельное, потаенное и знакомое *есть* отлично от моего *есть*. Я вижу, как он распадается – ноги, дикий глаз, яркие пятна, будто холодные огни – и, паря во тьме, тонет, меркнет; все вместе и ничего по отдельности; все по отдельности и ничего. Я вижу, как летит к нему слух и захлестывает, гладит, лепит его плотное тело: копыто, бедро, плечо и голову; запах и звук. Я не боюсь.

– Поджарили и съели. Поджарили и съели.

Дюи Дэлл

Он помог бы мне, если б только захотел. Как будто для меня все на свете заключено в этой толстой туше, и нельзя поверить, что в ней найдется место еще для чего-нибудь очень важного. Он – большая туша, а я – маленькая туша, и если в большой нет места еще для чего-нибудь важного, разве может найтись место в маленькой? Но я знаю, что оно нашлось: Бог подает женщинам знак, когда случилось неладное.

Это потому что я одна. Если б я могла его почувствовать, все было бы иначе, потому что я была бы не одна. Но если бы я была не одна, все бы про это узнали. А он смог бы мне помочь, и тогда я не была бы одна. Была бы одна неогорченная.

Я пустила бы его между собой и Лейфом, как Дарл стоит между мной и Лейфом, поэтому Лейф тоже один. Он – Лейф, а я – Дюи Дэлл, и, когда мама умерла, мне надо было выбраться из себя, Лейфа и Дарла – ведь он мог бы мне помочь, а не знает этого. Даже не знает.

С задней веранды мне хлев не виден. С той стороны слышна пила Кеша. Звук ее, как собака дворовая, носится кругом дома, к какой двери ни подойдешь, хочет внутрь забежать.

Он сказал: Я больше тебя тревожусь, а я сказала: Не знаешь ты, что такое тревога, когда тревожиться нет сил. И хочу, но додумать до тревоги все не успеваю.

Зажигаю на кухне лампу. Раскромсанная рыба тихо кровит в сковороде. Быстро ставлю ее в буфет, а сама слушаю, что в прихожей, слышу. Она десять дней умирала; может, еще не знает этого. Может, не отойдет, пока Кеша не дожидется. А может, и Джула. Вынимаю блюдо с овощами из буфета и противень с хлебом из холодной печки, останавливаюсь, смотрю на дверь.

– Где Вардаман? – спрашивает Кеш. При лампе голые руки в опилках похожи на песочные.

– Не знаю. Я его не видела.

– Упряжка Пибоди убежала. Поищи Вардамана. Конь ему дается, он поймает.

– Ладно. Скажи, чтобы ужинать шли.

Хлев не виден. Я сказала: «Тревожиться не умею. Плакать не умею. Пробовала, не получается». Чуть погода доходит из-за угла звук пилы, темный, ползет по земле в пыльной тьме. И тогда я вижу его: кланяется над доской.

– Иди ужинать, – говорю я. – И его зови.

Он мог бы все для меня сделать. А он не знает. Он – это его нутро, а я – это мое нутро. И я – нутро Лейфа. Вот как. Не понимаю, почему он не остался в городе. Они, городские люди, нам, деревенским, не чета. И чего он не остался? Потом я различаю крышу хлева. Корова стоит внизу тропинки, мычит. Когда я поворачиваюсь, Кеша уже нет.

Я вношу пахту. Папа, Кеш и он – за столом.

– Ваш парень большую рыбу поймал, где она, детка? – спрашивает он.

Я ставлю пахту на стол.

– Времени не было поджарить.

– Брюква – тощая еда для такого толстого, как я, – говорит он.

Кеш ест. На волосах у него ободом потная вмятина от шляпы. Рубашка в пятнах пота. Руки по локоть в опилках, не мыл.

– Надо было найти время, – говорит папа. – Где Вардаман?

Я иду к двери.

– Не видать его нигде.

– Слушай, милая, – говорит он, – не возись ты с рыбой. Не испортится. Иди сюда, сядь.

– Я не вожусь. Подоить хочу, пока дождь не начался.

Папа накладывает себе и отодвигает блюдо. Но к еде не притрагивается. Руки с согнутыми пальцами лежат по обе стороны от тарелки, голова опущена, волосы косо торчат в свете лампы. Похож на быка после удара обухом: он уже не живой, но еще не знает, что мертвый.

А Кеш начал есть, и этот тоже.

– Ты поешь, – говорит он. Смотрит на папу. – Бери пример с меня и Кеша. Тебе понадобятся силы.

– Да, – отвечает папа. Он поднимается, как бык, стоявший на коленях в пруду. – Она на меня не посетует за это.

Когда меня уже не видно из дома, я иду быстрее. Корова мычит под обрывом. Тычется в меня носом, сопит, сквозь платье горячим нежным духом обдает мое горячее голое тело, мычит.

– Нет уж, погоди. Потом тобой займусь. – Она идет за мной в хлев, я ставлю там ведро. Она дышит в ведро, мычит. – Сказано тебе. Погоди. У меня дел выше головы.

В хлеву темно. Когда я прохожу, он бьет копытом в стену. Иду дальше. Выломанная доска – как светлая доска, поставленная стоймя. Потом я вижу склон, воздух снова тихо веет в лицо, не такой темный, но непроглядный; купы сосен – кляксами на склоне, затаились, ждут.

Корова – плоская тень в двери, тычется в плоскую тень ведра, мычит.

Прохожу мимо стойла. Почти прошла. Слышу, говорится задолго до того, как выговорится само слово, и то, чем слушаю, боится, что не будет уже времени выговорить. Я чувствую, как мое тело, мои кости и мясо раздвигаются, раскрываются навстречу поодиночке, и становиться не-одной ужасно. Лейф, Лейф.

– Лейф.

Лейф, Лейф. Я чуть наклонилась вперед, одна нога выставлена в мертвом шаге. Чувствую, как тьма несется мимо моей груди, мимо коровы; и я сама несусь во тьму, но на пути корова, а тьма, пропитанная лесом и тишиной, несется дальше нежным жарким мыком.

– Вардаман. Эй, Вардаман!

Он выходит из стойла.

– Ах ты, шпион проклятый. Шпион проклятый.

Он не сопротивляется; унеслась со свистом стремительная тьма.

– Чего? Я ничего не сделал.

– Шпион проклятый! – Мои руки трясут его с силой. Наверно, я не смогу их остановить. Я не знала, что они могут так сильно трясти. Нас обоих трясут, и меня и его.

Руки перестали трясти его, но еще держат.

– Что ты тут делаешь? Почему не откликнулся, когда звала?

– Ничего не делаю.

– Ступай домой ужинать.

Он хочет отодвинуться. Я держу.

– Хватит тебе. Отпусти.

– Ты что тут делаешь? Шпионить за мной пришел?

– Я ничего. Я ничего. Хватит тебе. Я и не знал, что ты здесь. Отпусти.

Я держу его, наклоняюсь, чтобы увидеть его лицо, проверить глазами. Он вот-вот расплчется.

– Ну, ступай. Ужин на столе, сейчас подою и приду. Ступай, пока он все не съел. Чтоб его лошади в Джефферсон убежали.

– Убил ее, – говорит он. И плачет.

– Тихо.

– Она ему ничего не сделала, а он взял и убил.

– Тихо. – Он вырывается. Я держу. – Тихо.

– Убил ее.

Сзади подходит корова, мычит. Я снова трясусь его.

– А ну, перестань сейчас же. Добесишься сейчас, заболеешь, в город не сможешь ехать. Ступай домой, ужинай.

– Не хочу я ужинать. Не хочу я в город.

– Смотри, дома оставим. Будешь безобразничать, оставим дома. А ну иди, пока эта старая тыква все не слопала.

Он уходит, постепенно сливаясь с холмом. Вершина холма, деревья, крыша дома вырисовываются в небе. Корова тычет меня носом, мычит.

– Придется тебе подождать. То, что в тебе есть, против того, что во мне, – ерунда, хотя ты тоже женщина.

Она идет за мной, мычит. Снова мне повеяло в лицо мертвым, горячим, серым воздухом. Все бы мне сделал, если б захотел. И даже не знает этого. Все бы мог сделать, если б знал. Корова дышит мне в зад и в спину, дышит хрипло, ласково, тепло и мычит. Небо распласталось на склоне, на невидимых деревьях. Из-за холма выплеснулась зарница и погасла. В мертвой тьме мертвый воздух лепит мертвую землю – дальше, чем мертвую землю лепит зрение. Мертвый и теплый, он облегает меня, трогает мою наготу сквозь одежду. Я сказала: Не знаешь ты, что такое тревога. Я не знаю, что это такое. Не знаю, тревожусь я или нет. Могу или нет.

Не знаю, могу я плакать или нет. Не знаю, пробовала или нет. Я чувствую себя как влажное набухшее семя в жаркой слепой земле.

Вардаман

Когда они сколотят его, они положат ее туда; я долго не мог сказать слово. Я видел, как встала тьма и унеслась вихрем, и я сказал: «Ты забьешь ее гвоздями, Кеш? Кеш. Кеш». Я захлопнулся в закрое, и новая дверь чересчур тяжелая, она захлопнулась, дышать было нечем, потому что весь воздух выдышала крыса. Я сказал: «Ты забьешь его гвоздями, Кеш? Забьешь? Забьешь?»

Папа ходит. Ходит его тень вокруг Кеша, а он с пилой, кланяется над проклятой доской.

Дюи Дэлл сказала, мы купим бананов. Поезд – за стеклом, красный на рельсах. Когда он бежит, рельсы то блестят, то гаснут. Папа сказал, мука, сахар и кофе очень дорогие. Потому что я деревенский мальчик, потому что мальчики городские. Велосипеды. Почему мука, сахар и кофе дорогие, если он деревенский мальчик. «Может быть, лучше хочешь бананов?» Бананы съел, и нет их. Нет их. Когда он пробегает, рельсы опять блестят. «Пап, почему я не городской мальчик?» Я сказал: «Меня Бог создал. И не просил Бога, чтобы Он создал меня в деревне. Если Он может создать поезд, почему не может создать всех в городе, потому что мука, сахар и кофе». «Может, бананов лучше хочешь?»

Он ходит кругом, тень его ходит кругом. Это не она была. Я там был, смотрел. Я видел. Я думал, это она, а это была не она. Не мама. Она отошла, когда другая легла на ее кровать и закрылась одеялом. Она отошла. «До самого города ушла?» – «Дальше города ушла». – «А те кролики и опоссумы дальше города уходили?» Бог создал кроликов и опоссумов. Он создал поезд. Зачем они уходят в разные места, если она все равно что кролик.

Папа ходит кругом. Тень его ходит. Пила как будто спит, такой от нее звук.

Значит, если Кеш забьет гроб, она не кролик. Значит, если она не кролик, я не мог дышать в закрое, и Кеш его забьет. Значит, если она ему позволит, это не она. Я знаю. Я там был. Я видел, когда там была не она. Видел. Они думают, это она, и Кеш его забьет.

Это была не она, потому что лежала вон там в грязи. А теперь вся раскромсана. Я ее раскромсал. Лежит на кухне в сковородке с кровью, ждет, когда ее поджарят и съедят. Тогда ее не было, а мама была, а теперь она есть, а мамы не было. А завтра ее поджарят и съедят, и мама станет им и папой, и Кешем, и Дюи Дэлл, а в гробу ничего не будет, и значит, мама сможет дышать. Лежала вон там на земле. Пускай Вернон скажет. Он там был и видел ее, и для нас двоих она будет, а потом ее не будет.

Талл

Он разбудил нас около полуночи, дождь уже шел. В такую ночь ждешь дурного: буря идет, и, пока скотину накормишь, в дом попадешь, да сам поужинаешь, да до постели доберешься, можно ждать чего угодно; дождь уже зарядил, а когда прибежали лошади Пибоди, волоча порванную упряжь, и нашийник у правой болтался между ногами, Кора сказала: «Это Адди Бандрен. Отмучилась».

– Да тут десяток домов в окрестности, Пибоди в любом мог быть. – Я говорю. – И почему ты знаешь, что это его лошади?

– А чьи же? – Она говорит. – Иди запрягай.

– Зачем? Если умерла, мы до утра все равно ничем не поможем. И гроза вон собирается.

– Это мой долг. – Она говорит. – Давай закладывай.

Я не послушался.

– Надо думать, если бы мы понадобились, за нами послали бы. Кто сказал, что она умерла?

– Ты что, докторских лошадей не узнал? Скажешь, не его? Ну, знаешь ли.

Но я не пошел. Если ты нужен людям – подожди, когда позовут, так я вывел.

– Это мой христианский долг, – говорит Кора. – Ты помешаешь мне выполнить христианский долг?

– Завтра можешь целый день там быть, если хочешь, – говорю я.

И вот, когда разбудила меня Кора, уже дождь лил. Пока я шел к двери с лампой, и она светила в стекло, и он, стало быть, знал, что иду, стук все равно продолжался. Негромкий, но ровный, будто он уснул, стуча. А я и не разобрал, что стучат так низко, дверь открываю – никого. Лампу поднял, капли дождя блестят, а Кора в прихожей спрашивает: «Вернон, кто там?» А я никого не вижу, потом только лампу догадался опустить да за дверь заглянул.

Он был похож на утопшего щенка – в комбинезоне, без шапки и грязью заляпан до колен – четыре мили ведь прошел.

– Вот так штука, – говорю.

– Вернон, кто там? – Кора спрашивает. А он смотрит на меня, глаза круглые, зрачки черные, как у совы, когда ей в морду посветишь.

– Помнишь рыбу. – Он говорит.

– Иди в дом, – говорю. – Что случилось? Мама твоя...

– Вернон. – Кора опять.

Он вроде прячется за открытой дверью, в темноте. Дождь по лампе хлещет, она шипит, вот-вот лопнет.

– Ты там был, – говорит он. – Ты ее видел.

Кора к двери подошла.

– Уйди с дождя, – говорит и втаскивает его, а он на меня смотрит. Похож на утопшего щенка. – Сказала я тебе, – говорит Кора. – Сказала, что там делается. Иди запрягай.

– Он же не сказал... – отвечаю.

Он на меня смотрит, а с него на пол течет.

– Коврик испортит, – говорит Кора. – Закладывай, а его пока на кухню отведу.

Он не идет, смотрит на меня круглыми глазами, а с него каплет.

– Ты там был. Ты видел, она на земле лежала. Кеш хочет забить гвоздями, а она на земле лежала. Ты видел. След от нее на земле видел. Я когда пошел сюда, дождя еще не было. Успею обратно.

У меня мороз пошел по коже, хотя я еще не понимал. А Кора поняла.

– Запрягай, да поскорее, – говорит. – Он ума лишился от горя.

Ей-богу, мороз по коже. Так вот задумаешься иногда. Про беды и несчастья в этом мире; ударить может куда угодно, как молния. Видно, крепкая вера в Господа нужна, чтобы охраниться человеку, но порой мне сдается, что Кора чересчур уж предусмотрительная, – вроде как других отесняет, чтобы самой ближе всех встать. А потом случится что-нибудь такое, и думаешь, что она права, так и надо стараться, и верно она говорит, посчастливилось мне с такой женой, что всегда стремится к святости и добродетели.

Вот и задумаешься иногда об этом. Нечасто, правда. Да оно и лучше. Потому что создал нас Господь для дела, а не для того, чтобы чересчур долго думали; мозги, они как машина, не любят, чтобы в них зря копались. Работают себе – и пусть работают, делают обыденную работу, и не надо, чтобы какая-нибудь часть напрягалась больше положенного. Говорил и опять скажу: вот что неладно с Дарлом: чересчур много внутри себя думает. Кора правильно говорит: ему, чтобы выправиться, жена нужна, и все. А я думаю, что если человеку ничего, кроме жены, не поможет, то на нем можно ставить крест. Но, наверно, Кора правильно говорит, для какой

надобности Господу пришлось создать женщину: для такой, что мужчина не понимает своей пользы, когда она у него под носом.

Я подогнал повозку к дому, а они были на кухне. Кора оделась прямо на ночную рубашку, голову замотала платком, зонт у ней и Библия, в клеенку завернутая, а он сидит на опрокинутом ведре, на цинковом листе перед печкой, как она его посадила, и с него капает на пол.

– Ничего от него не добились, кроме рыбы. – Кора говорит. – Это им наказание. Вижу руку Господа на мальчике – Ансу Бандрену наказание и предостережение.

– Я когда уходил, дождя не было. – Он говорит. – Я ушел. В дороге был. А она там лежала в пыли. Ты видел. Кеш хочет забить ее гвоздями, но ты-то видел.

Когда мы к ним приехали, дождь лил всюю, а он сидел между нами, завернутый в ее платок. Больше ничего не сказал, так и сидел молча, а Кора держала над ним зонт. Кора иногда переставала петь и говорила: «Это наказание Ансу Бандрену. Пусть поймет, что шел стезей греха». И снова петь, а он сидит между нами, вперед подавшись, словно мулов хочет поторопить.

– Она вон там лежала, – говорит, – а дождя не было, когда я ушел. Теперь пойду и открою окна, потому что Кеш ее еще не забил.

Последний гвоздь мы загнали поздно ночью; пока я вернулся, распряг мулов и обратно залез в постель – там на соседней подушке так и лежал ночной чепец Кору, – почти рассвело. А я будто слышу еще, ей-богу, пение Кору и чувствую, как мальчишка между нами подался вперед, словно он впереди мулов, и вижу, как Кеш пилой водит и Анс стоит, словно пугало, словно бык по колени в пруду, – и кто-то подошел, пруд стоймя поставил, а он и не заметил, что воды-то нет. Последний гвоздь мы загнали чуть ли не перед рассветом и внесли его в дом; она лежала на кровати, опять у открытого окна, и ее обдавало дождем. Два раза он открывал окно, а сам сонный, еле на ногах держится, и лицо, сказала Кора, похоже на святочную маску, которую закопали на время, а потом выкопали, – но тут ее переложили в гроб и крышку забили, чтобы он окно ей больше не открывал. Наутро его нашли на полу, в одной рубашке, спал как убитый, а крышка гроба вся как есть просверлена, и в последней дырке – новенький бурав Кеша, сломанный. Крышку сняли – оказывается, он и лицо ей два раза пробуровил.

Если это наказание, то неправильное. Других дел, что ли, у Господа нет? Должны быть. Потому что другой ноши, кроме себя самого, на Ансе Бандрене никогда не было. И когда плохо о нем говорят, я про себя думаю, что не настолько он ниже человека – иначе как бы он терпел себя так долго.

Неправильно это. Ей-богу, неправильно. А что сказал Он: пустите детей приходить ко Мне, – так от этого все равно не станет правильно. Кора сказала: «Я родила тебе то, что Господь Бог послал. Я принимала это без страха и ужаса, потому что велика была моя вера в Господа, поддерживала и укрепляла меня. Если нет у тебя сына, значит, так повелел Господь в мудрости Своей. Жизнь моя всегда была открытой книгой для Его созданий, для мужчин, для женщин – все едино, ибо уповаю на Господа моего и награду мою».

Пожалуй, она права. Пожалуй, если есть на свете такой человек, кому Он мог бы доверить все дела и отлучиться со спокойной душой, то человек этот – Кора. И думаю, как бы Он ни управлял до нее, она бы кое-что переменила. И думаю, переменила бы нам на пользу. По крайности нам придется так думать. По крайности кто нам помешает жить как жили и делать как делали.

Дарл

Фонарь стоит на пне. Ржавый, замасленный, с треснутым стеклом, облизнутым с одного боку копытю, он льет чахлый и душный свет на козлы, на доски и землю вокруг. Стружки на

темной земле – как случайные мазки мягкой бледной краски на черном холсте. Доски похожи на изнанку длинных гладких лоскутов, вырванных из плоской тьмы.

Кеш трудится у козел. Ходит туда и сюда, поднимает доски и кладет; в мертвом воздухе они долго гремят, как будто он бросает их на дно невидимого колодца – звук замирает, не удаляясь, словно любое движение может вновь и вновь извлекать из окружающего воздуха многократное эхо. Он опять пилит, его локоть ходит медленно, и тонкая огненная бечевка бежит по краю пилы, пропадая и возникая в конце и в начале каждого хода, тянется, тянется, словно пила длиной в человеческий рост – и прочерчивает наискось невзрачную и праздную папину фигуру. «Поддай ту доску, – говорит Кеш. – Нет, другую». Он кладет пилу, отходит, берет нужную доску и, держа наперевес, длинным тусклым лучом ее сметает папу в сторону.

Воздух пахнет серой. На неосязаемой воздушной пелене, как на стене, лежат их тени, словно и тени, подобно звукам, не падают далеко, а сгущаются здесь же, близкие и задумчивые. Кеш продолжает работать, упёрши тонкую, как палка, руку в бок, вполоборота к чахламу огоньку: свет падает наклонно на его опущенное лицо, сосредоточенное и неподвижное над снующим локтем. Под небом дремлет зарница; на фоне ее неподвижные деревья взъерошены до самого мелкого черенка, раздались, разбухли, как беременные.

Начинается дождь. Будто протяжный вздох облегчения пронесся: первые редкие, стремительные капли дождя пробили листву и падают на землю. Крупные, как картечь, теплые, словно вылетели из ружейного ствола; с яростным шипением охлестывают фонарь. Папа поднимает лицо с разинутым ртом и влажной черной каймой жвачки, прилипшей к деснам; сквозь ослабленное изумление созерцает он, словно сквозь время, эту последнюю обиду. Кеш только взглянул на небо, потом на фонарь. Пила не запнулась, бегучая огненная линия зубьев не замерла ни на миг.

– Принеси чем фонарь прикрыть, – говорит он.

Папа идет к дому. Дождь хлынул вдруг, без грома, без предупреждения; краем своим смахнул папу к веранде, а Кеш мгновенно промок насквозь. Но пила не запнулась, словно ею и рукой водит спокойная убежденность в том, что дождь всего лишь обман чувств. Потом он кладет пилу, отходит и приседает над фонарем, прикрывает его своим телом: кости тощей спины торчат из-под мокрой рубашки, словно вместе с рубашкой он вывернут наизнанку.

Возвращается папа. На нем плащ Джула, а в руках – плащ Дюи Дэлл. Сидя над фонарем, Кеш протягивает руку назад, подбирает четыре палочки, втыкает в землю, берет у папы плащ Дюи Дэлл и растягивает на палочках – навес над фонарем. Папа за ним наблюдает.

– Не знаю, как тебе быть, – говорит он. – Дарл увез свой плащ.

– Мокнуть, – говорит Кеш. Мокрый, костлявый, неутомимый, легкий телом, словно мальчишка или старик, он снова берется за пилу; снова она заходила вниз и вверх, невозмутимо и плавно, как поршень в масле. Папа наблюдает за ним, моргая глазами, по лицу его течет вода; он снова глядит на небо с тяжелой глухой обидой, но и со злорадством, точно ничего другого не ожидал; время от времени он шевелится, делает шаг, – долговязый, весь залитый водой, подбирает доску или инструмент, потом кладет обратно. Теперь здесь и Вернон Талл; Кеш – в плаще Вернона, и они с Верноном ищут пилу. Немного погода находят – в руке у папы.

– Шел бы ты домой с дождя, – говорит Кеш. Папа глядит на Кеша, по лицу его медленно течет. Как будто лицо сделано злым карикатуристом и эти потоки воды – аляповатая пародия на скорбь. – Иди в дом, – говорит Кеш. – Мы с Верноном сами кончим.

Папа смотрит на них. Рукава плаща ему коротки. Дождь стекает по лицу медленно, как холодный глицерин.

– Я не сетую на нее, что промок, – говорит он. Снова зашевелился: перекладывает доски, поднимает и кладет, осторожно, будто они стеклянные. Подходит к фонарю, подтягивает навес из плаща – и валит; Кешу приходится ставить снова.

– Иди домой, – говорит Кеш. Он отводит папу в дом, возвращается с плащом, свертывает его и кладет под навес рядом с фонарем. Вернон не прервал работу. Продолжая пилить, поднимает голову.

– Сразу надо было, – говорит он. – Ты же знал, что дождь пойдет.

– Лихорадка у него, – отвечает Кеш. Он смотрит на доску.

– Ну да, – говорит Вернон. – Все равно бы вышел.

Кеш, прищурясь, смотрит на доску. Тысячами капель, то чаще, то реже, дождь хлещет по всей ее длине.

– Сниму на скос.

– Больше канители, – говорит Вернон.

Кеш ставит доску на ребро, Вернон смотрит на него, потом дает ему рубанок.

Вернон крепко держит доску, а Кеш состругивает ребро с тщательностью ювелира. К краю веранды подходит Кора и окликает Вернона:

– Много вам осталось?

Вернон не поднимает головы.

– Немного. Но осталось.

Она смотрит на Кеша; водяночный свет фонаря косо падает на согнутую спину, и блики скользят по ней при каждом его движении.

– Оторвите доски от хлева да заканчивайте, уходите с дождя, – говорит она. – Простудитесь оба насмерть. – Вернон не шевельнулся. – Вернон, – говорит она.

– Нам недолго осталось, – отвечает он. – Еще немного, и кончим.

Она смотрит на них. Потом уходит в дом.

– Если будем опаздывать, можно оторвать от хлева, – говорит Вернон. – Потом я помогу тебе зашить.

Кеш отнял рубанок и смотрит одним глазом вдоль доски, вытирая ее ладонью.

– Давай следующую.

Дождь перестает незадолго до рассвета. На исходе ночи Кеш вбивает последний гвоздь, с трудом распрямляется и смотрит на законченный гроб; остальные наблюдают за ним. При свете фонаря лицо у него спокойное и задумчивое; неспешно, сосредоточенно, удовлетворенно он вытирает ладони о плащ. Потом вчетвером – Кеш с папой и Вернон с Пибоди – поднимают гроб на плечи и направляются к дому. Он легкий, но шагают медленно; пуст, но несут осторожно; неодушевлен, но переговариваются шепотом, остерегая друг друга, словно, законченный, он стал живым и только дремлет чутко, а они ждут, когда он сам проснется. На темном полу их ноги топочут неуклюже, словно они отвыкли ходить пополам.

Они опускают гроб рядом с кроватью. Пибоди тихо говорит:

– Давайте перекусим. Утро скоро. Где Кеш?

Он вернулся к козлам; нагнувшись, при чахлом свете фонаря собирает инструменты, тщательно обтирает их тряпкой и кладет в ящик с наплечным ремнем. Потом берет ящик, фонарь и плащ и поднимается по ступенькам, смутно вырисовываясь на фоне неба, уже посеревшего на востоке.

В чужой комнате ты должен опорожнить себя для сна. А до того, как опорожнил, то, что есть в тебе, – ты. А когда опорожнил себя для сна, тебя нет. И когда ты наполнился сном, тебя никогда не было. Я не знаю, что я такое. Не знаю, есть я или нет. Джул знает, что он есть, потому что не знает, что не знает, есть он или нет. Он не может опорожнить себя для сна, потому что он не то, что он есть, и он то, что он не есть. За неосвещенной стеной я слышу, как дождь лепит повозку – нашу; на нее нагружен лес, уже не тех людей, кто свалил его и распилил, еще не тех, кто его купил, но и не наш, – хотя лежит на нашей повозке, – потому что только дождь и ветер лепят его только для Джула и меня, раз только мы не спим. А раз сон – это не быть, а дождь и ветер это – было, значит, его нет. А повозка *есть*, потому что, когда повозка

станет *было*, Адди Бандрен не станет. И Джул *есть*, значит, Адди Бандрен должна быть. А тогда и я должен быть, иначе не смог бы опорожнить себя для сна в чужой комнате. Значит, если я еще не опорожнен, я *есть*.

Сколько раз я лежал в дождь под чужой крышей, думая о доме.

Кеш

Я сделал все на скос.

1. Гвозди схватывают большую поверхность.
2. В каждом шве поверхность прилегания вдвое больше.
3. Воде придется просачиваться в него наискось. Вода легче всего движется по отвесу и по лежню.
4. В доме две трети времени люди в отвесном положении. Поэтому соединения и стыки делаются отвесно. Потому что нагрузка отвесная.
5. На кровати люди все время лежат, вязки делаются по лежню, потому что нагрузка лежащая.
6. Но.
7. Тело не прямоугольное, как шпала.
8. Животный магнетизм.
9. Животный магнетизм мертвого тела дает нагрузку вкось, поэтому швы и соединения гроба делаются на скос.
10. На старой могиле видно, что земля оседает на скос.
11. В природной же яме она оседает посерединке, потому что нагрузка отвесная.
12. Поэтому я сделал на скос.
13. Качество работы лучше.

Вардаман

Моя мама – рыба.

Талл

Вернулся я к ним в десять, привязав лошадей Пибоди к задку повозки. Дрожки его уже кто-то притащил – Квик нашел их в миле от родника, вверх колесами над канавой. У родника их скатили с дороги, и там уже стояло с десятков упряжек. Дрожки нашел Квик. Он сказал, что река поднялась и еще поднимается. Сказал, что уже закрыло самую верхнюю отметку на сваях.

– Мост такой большой воды не выдержит. – Я говорю. – Ансу про это сказали?

– Я сказал, – отвечает Квик. – Он думает, что ребята про это услышали и разгрузились и уже обратно едут. Говорит, погрузимся и переедем на ту сторону.

– Похоронил бы лучше у Новой Надежды, – сказал Армстид. – Мост старый. С ним шутки плохи.

– Нет, в Джефферсон решил везти, – сказал Квик.

– Тогда надо поскорее отправляться, – сказал Армстид.

Анс встречает нас у двери. Он побрился, но плохо. На подбородке длинный порез, а одет он в выходные брюки и белую рубашку с воротничком на запонке. Рубашка обтягивает горб, в белом горб кажется больше, и лицо у него тоже другое. Теперь он смотрит людям в глаза, с достоинством, лицо сосредоточенное и трагическое, он пожимает руку каждому из нас, а

мы по очереди поднимаемся на веранду, вытираем ноги, чувствуя себя неловко в выходных костюмах, выходные костюмы шуршат на нас, а мы избегаем его взгляда.

– Господь дал, – говорим мы.

– Господь дал.

Мальчишки тут нет. Пибоди рассказал, как он пришел на кухню, увидел, что Кора жарит рыбу, стал орать, ругаться, бросался на нее, и Дюи Дэлл увела его в хлев.

– Целы мои лошади? – спрашивает Пибоди.

– Целы, – отвечаю. – Я им корму дал нынче утром. Дрожки тоже вроде целы. Не разбились.

– Кому-то за это большое спасибо, – говорит он. – Пять центов не пожалел бы, чтобы узнать, где был мальчик, когда лошади сорвались.

– Если там что поломалось, починю, – говорю я.

Женщины ушли в дом. Мы слышим, как они разговаривают и машут веерами. Веера – шу, шу, шу, а сами говорят, говорят, будто пчелы в бочке шепчутся. Мужчины остались на веранде, переговариваются, друг на друга не смотрят.

– Здорово, Вернон. Здорово, Талл.

– Опять дождь будет.

– Да, похоже.

– Опять пойдет. Непременно.

– И налетит быстро.

– А уходить будет медленно. Известное дело.

Я перехожу на заднюю сторону. Кеш затыкает дыры в крышке. Обстругивает втулки, по одной, дерево мокрое и стругается плохо. Мог бы разрезать консервную банку и разом закрыть, никто бы не заметил разницы. А заметил – не сказал бы. Помню, он час при мне вытесывал клинышек, словно со стеклом работал, – а ведь нагнись только, подбери щепок, забей под шип, и хорош.

Когда мы кончили, я вернулся к ним. Мужчины отошли от дома, сидели, где мы его строили ночью, – кто на обрезках досок, кто на козлах, кто на корточках, кто так. Уитфилд еще не приехал.

Они посмотрели на меня, спросили глазами.

– Все почти. – Я говорю. – Будет забивать.

Поднимаемся по лестнице, к двери подходит Анс, смотрит на нас, и мы всходим на веранду. Снова вытираем ноги, старательно пропускаем друг друга вперед, толпимся перед дверью. Анс стоит за порогом, сосредоточенный, держится с достоинством. Показывает нам – проходите, и сам идет в комнату первым.

Они уложили ее вверх ногами. Кеш сделал его наподобие часов, вот такой, все швы и стыки – на скос и выровнены рубанком, тугой, как барабан, аккуратный, как шкатулка, а ее уложили головой в ноги, чтобы не смялось платье. Платье было венчальное, колоколом, вот и положили ее головой в ноги, платье чтобы не примять, а москитной сеткой лицо прикрыли, чтоб не видно было дырок от бурава.

Выходим, а навстречу Уитфилд. Идет мокрый, грязный до пояса.

– Да утешит Господь этот дом. Я опоздал, потому что мост залило. Я поехал к старому броду и переплыл с лошадью, и Господь хранил меня. Да будет милость Его над этим домом.

Мы пошли обратно к козлам и обрезкам, сели.

– Я знал, что зальет, – говорит Армстид.

– Долго он держался, этот мост, – говорит Квик.

– Скажи лучше, Господь его держал, – говорит Дядя Билли. – Не помню, чтобы за двадцать пять лет молотком по нему кто ударил.

– Сколько же он тут стоял, Дядя Билли? – спрашивает Квик.

– Его построили... дай Бог памяти... в 1888 году, – говорит Дядя Билли. – А помню потому, что первым по нему проехал Пибоди – ко мне, когда Джоди родился.

– Если бы я ездил каждый раз, когда твоя жена приплод давала, он бы давно уж сно-
сился, – говорит Пибоди.

Мы вдруг громко смеемся и разом смолкаем. Переглядываемся искоса.

– Много людей по нему переехало, – говорит Хьюстон, – последний раз в жизни.

– Это факт, – откликается Литлджон. – Это верно.

– Одной уж теперь не удастся, – говорит Армстид. – Им с ней на мулах до города два-
три дня. Пока в Джефферсон отвезут да потом обратно – как раз неделя.

– А что Ансу втемяшилось везти ее в Джефферсон? – спрашивает Хьюстон.

– Обещал ей, – говорю я. – Сама захотела. Родом она оттуда. Так решила.

– И Анс так решил, – говорит Квик.

– Да, – говорит Дядя Билли. – Вот плывет человек всю жизнь без руля, без ветрил, а
потом возьмет да такое удумает, чтобы всем хлопот устроить выше головы.

– Ну, теперь разве только сам Господь поможет перебраться через реку, – говорит
Пибоди. – Ансу одному не справиться.

– Думаю, Он поможет, – говорит Квик. – Он уж давно Ансу помогает.

– Это факт, – говорит Литлджон.

– Так давно, что и бросить теперь жалко, – говорит Армстид.

– Я думаю, Он как все у нас тут, – говорит Дядя Билли. – Так долго помогал, что теперь
поздно бросать.

Выходит Кеш. Он надел чистую рубашку; мокрые волосы гладко зачесаны на лоб, гладкие
и черные, как будто голову покрасили масляной краской. С трудом присаживается на корточки,
мы за ним наблюдаем.

– Чувствуешь погоду-то? – спрашивает Армстид.

Кеш не отвечает.

– Сломанная кость всегда погоду чувствует, – говорит Литлджон. – У кого кость сломана,
предсказывать может.

– Это счастье, что отделался сломанной ногой, – говорит Армстид. – На всю жизнь мог
стать лежачим. Кеш, ты с какой высоты падал?

– Двадцать восемь футов четыре с половиной дюйма примерно, – говорит Кеш. Я под-
саживаюсь к нему.

– На мокрых досках недолго поскользнуться, – говорит Квик.

– Обидно. – Я говорю. – Но что ты мог сделать?

– Все это бабы, черти, – говорит он. – Я его строил, чтобы у ней с ним было равновесие.
Строил по ее размеру и весу.

*Если люди с мокрых досок падают, большое паданье тут будет, пока не переменится
погода.*

– Что ты мог сделать? – говорю я.

Люди падают – это ладно. А вот с кукурузой и хлопком моим что будет?

Да и Пибоди не против, чтобы люди падали. Скажи, доктор?

Это факт. С корнем из земли вымоет. Не одна напасть, так другая.

*А как же? Потому они и стоят чего-то. Если бы не напасть эти да у всех бы урожай
большой, тогда и растить бы небось не стоило.*

*Нет уж – работаешь, ломаешься, а потом чтобы твою работу смыло к чертовой
матери?*

Это факт. Вот если бы сам мог дождь пустить, тогда и смоем – не обидно.

Какой же человек может это сделать? Какого, интересно, цвета у него глаза?

Да. Господь растениям дал расти. Он и смоем, если будет на то Его воля.

– Что ты мог сделать? – говорю я.

– Это все бабы, черти, – говорит он.

В доме женщины запели. Мы слышим, как начинается первый стих, крепнет, обрстая голосами, и мы встаем, идем к двери, снимаем шляпы, выплевываем жвачку. Не входим. Останавливаемся перед ступеньками кучкой, держим шляпы вялыми руками, кто перед собой, кто сзади, стоим, выставя ногу вперед и опустив голову, смотрим вбок, или на шляпы, или в землю, а иногда на небо и на серьезное, сосредоточенное лицо соседа.

Песня кончается; дрожащие голоса дружно вывели последнюю замирающую ноту. Начинает Уитфилд. Его голос больше его самого. Как будто они – не одно. Как будто он отдельно и голос отдельно, переплывают на двух лошадях реку у брода и входят в дом – один измазан грязью, а другой даже не намок, торжественный и печальный. Кто-то заплакал в доме. Кажется, что ее глаза и ее голос обращены внутрь, и она слушает; мы переступаем с ноги на ногу и, встретившись глазами, тут же отводим их, делаем вид, что этого не было.

Уитфилд наконец умолк. Женщины опять поют. Голоса возникают прямо из густого воздуха и сливаются в печальную утешительную мелодию. Смолкли, но будто не исчезли. Будто затаились в воздухе, и стоит нам двинуться, мы снова извлечем из воздуха печальную и утешительную песню. Но вот они кончили, мы надеваем шляпы неловкими руками, словно никогда не носили шляп.

По дороге домой Кора продолжает петь. «К Богу путь держу и к моей награде», – поет она в повозке, закутав плечи в платок, под раскрытым зонтом, хотя дождя нет.

– Она свою получила, – говорю я. – Не знаю, куда она попадет, но награду уже получила – освободилась от Анса Бандрена. *Три дня лежала в гробу, ждала, когда Дарл и Джул вернутся за новым колесом и опять уйдут туда, где их повозка лежит в канаве. Анс, возьми мою, сказал я.*

Дождемся нашей, он сказал. Она захочет на своей. Она всегда была щепетильной женщиной.

На третий день они вернулись, погрузили ее в повозку и поехали – и уже было поздно. Вам придется ехать кругом, через Самсонов мост. Дотуда день дороги. И оттуда сорок миль до Джефферсона. Анс, возьми мою.

Дождемся нашей. Она на своей захочет.

Его мы увидели в миле от дома, сидел у болотного озера. Сколько живу, рыба там никогда не водилась. Оглянулся на нас, глаза круглые и спокойные, лицо чумазое, удочка на коленях. Кора еще пела.

– Неподходящий день рыбу удить, – сказал я. – Поехали с нами домой, а завтра чем свет пойдем с тобой на реку и наловим рыбы.

– Эта здесь сидит. Дюи Дэлл ее видела.

– Поехали с нами. На реке-то лучше.

– Она здесь. Дюи Дэлл ее видела.

– К Богу путь держу и к моей награде, – пела Кора.

Дарл

– Ведь не конь твой умер, Джул, – говорю я.

Он сидит на сиденье прямо, чуть подавшись вперед, спина деревянная. Поля шляпы в двух местах отмокли от тульи, провисли перед его деревянным лицом, и, нагнувши голову, он смотрит в дыры, словно из-под забрала, смотрит вдаль через долину, туда, где хлев прислонился к обрыву и лепит невидимую лошадь.

– Вот видишь? – Я говорю. Висят высоко над домом, сужая круги в густом бурливом небе. Неумолимые, терпеливые, зловещие, отсюда они кажутся соринками. – Только ведь не конь твой умер.

– Черт бы тебя взял, – говорит он. – Черт бы тебя взял.

Я не могу любить мать, потому что у меня нет матери. У Джула мать – лошадь.

Неподвижные грифы кругами парят в вышине, и тучи несутся, будто отбрасывая их в обратную сторону.

Неподвижный, с деревянной спиной и деревянным лицом, напряженно устремясь вперед, он лепит коня своей ястребиной посадкой, и крылья согнуты. Они ждут нас, уже готовы выносить, его ждут. Он входит в стойло, ждет, когда конь лягнется, – чтобы проскользнуть мимо и вскочить на корыто; смотрит оттуда поверх стойл на пустую тропу и только потом тянется наверх за сеном.

– Черт бы его взял. Черт бы его взял.

Кеш

– Равновесия не будет. Если не хотите, чтобы перевешивался на ходу и в езде, нам надо...

– Поднимай. Поднимай, черт бы тебя взял.

– Говорят тебе, на ходу и в езде перевешиваться будет, если...

– Поднимай! Поднимай, бестолочь, душу твою в пекло!

Равновесия не будет. Если не хотят, чтобы на ходу и в езде перевешивался, им надо...

Дарл

Наклоняется над ним вместе с нами, две руки из восьми.

Кровь приливает волнами к его лицу, а между волнами оно зеленоватое – ровная, сплошная, светлая зелень коровьей жвачки; лицо задышающегося, яростный оскал.

– Поднимай! – говорит он. – Поднимай, бестолочь, душу твою дьявол.

Натужился и вдруг вскидывает свой конец; мы едва успеваем за его рывком – подхватываем гроб, чтобы не перевернулся. Первое мгновение он сопротивляется, будто живой – будто ее тонкое, как лучина, тело внутри, даже мертвое, яростно противится из стыда – примерно так она стеснялась бы раздеться, показать грязное белье. Потом отрывается и взлетает на наших руках, словно истощенное тело придало доскам летучесть или же она, поняв, что одежду сейчас сорвут, бросается за ней вдогонку, и в этой крутой перемене чудится насмешка над первоначальной потребностью и желанием. Лицо у Джула становится совсем зеленым, и я слышу зубы в его дыхании.

Мы несем его по прихожей, неуклюже и громко шаркая ногами по полу, и выносим в дверь.

– Пойдите-ка минутку, – говорит папа и отпускает. Он поворачивается, чтобы захлопнуть и запереть дверь, но Джул ждать не хочет.

– Пошли, – говорит он задышающимся голосом. – Пошли.

Мы осторожно спускаемся с ним по ступенькам. Боимся даже чуть-чуть наклонить его, словно это – невиданная драгоценность, несем, отвернув лица, дышим сквозь зубы, чтобы не дышать носом. Движемся по тропинке, к склону.

– Все-таки подождите, – говорит Кеш. – Говорю, равновесия нет. На холме понадобится еще один человек.

– Ну и отпусти, – говорит Джул. Он не останавливается.

Кеш не поспевает за ним, он ковыляет и шумно дышит; потом отстал, и Джул один несет передний конец, и на склоне гроб тоже наклоняется, начинает убегать от меня, скользит вниз по

воздуху, как сани по невидимому снегу, плавно отсасывая воздух, в котором еще запечатлено его содержание.

– Джул, подожди, – говорю я.

Но он не хочет ждать. Он почти бежит, а Кеш остался сзади. Мне кажется, что мой конец ничего не весит, плывет как соломинка на буйной волне Джулова отчаяния. Я уже не прикасаюсь к нему, когда Джул поворачивается и, остановившись на заносе, с ходу досылает гроб в повозку, а потом оборачивает ко мне лицо, искаженное яростью и отчаянием.

– Черт бы тебя взял. Черт бы тебя взял.

Вардаман

Мы едем в город. Его не продадут, сказала Дюи Дэлл, потому что он Деда Мороза и Дед Мороз забрал его до Рождества. Тогда он опять будет за стеклом, блестеть и ждать.

Папа и Кеш спускаются по склону, а Джул идет в хлев.

– Джул. – Папа говорит. Джул не остановился. – Ты куда идешь? – Папа спрашивает. А Джул не остановился. – Оставь коня здесь, – говорит папа. Джул остановился и смотрит на папу. Глаза у Джула светлые. – Оставь коня здесь, – говорит папа. – Мы все поедem с мамой на повозке, как она хотела.

А моя мама – рыба. Вернон видел. Он был тут.

– У Джула мать – лошадь, – сказал Дарл.

– Тогда моя может быть рыбой, правда, Дарл? – сказал я.

Джул – мой брат.

– Тогда и моя должна быть лошаdью, – сказал я.

– Почему? – спросил Дарл. – Если твой папа – папа, почему твоя мама должна быть лошаdью – потому что у Джула мама – лошадь?

– А почему должна? – спросил я. – Почему, Дарл?

Дарл – мой брат.

– Дарл, а твоя мама кто? – спросил я.

– У меня ее нет, – сказал Дарл. – Потому что, если у меня была, то она *была*. А если *была*, значит, ее нет. Нет?

– Нет, – сказал я.

– Значит, меня нет, – сказал Дарл. – Я это я?

– Ты.

Я это я. Дарл – мой брат.

– Ведь ты это ты, Дарл.

– Я знаю, – сказал Дарл. – Поэтому меня и нет, что я для тебя – *ты*. И для них – *ты*.

Кеш несет свой ящик с инструментами. Папа смотрит на него.

– На обратной дороге зайду к Таллу, – говорит Кеш. – Там надо крышу на амбаре.

– Это неуважение. – Папа говорит. – Это издевательство над ней и надо мной.

– Хочешь, чтобы он доехал досюда, а потом пешком тащил их к Таллу? – спрашивает Дарл.

Папа смотрит на Дарла, жует ртом. Теперь папа бреется каждый день, потому что моя мама – рыба.

– Это неправильно, – говорит папа.

У Дюи Дэлл в руке сверток. И корзинка с нашим обедом.

– Это что? – спрашивает папа.

– Пироги взяла у Кору, – говорит Дюи Дэлл и влезает на повозку. – Просила в город отвезти.

– Это неправильно, – говорит папа. – Это неуважение к покойной.

Он будет там. Она говорит, он будет там на Рождество, блестеть на рельсах. Говорит, его не продадут городским ребятам.

Дарл

Он идет к хлеву, входит на участок, спина деревянная.

Дюи Дэлл несет корзинку через руку, в другой руке что-то квадратное, завернуто в газету. Лицо у нее спокойное и угрюмое, в глазах настороженная мысль; в них я вижу спину Пибоди, как две круглые горошины в двух наперстках: может быть, в спине Пибоди – два таких червячка, которые упорно и тайком проедаются сквозь тебя и вылезают с другой стороны, и ты вдруг пробуждаешься от сна или бодрствования с ошарашенным, озадаченным лицом. Она ставит корзину в повозку и влезает сама; нога длинно заголилась под натянувшимся платьем: этот рычаг, который переворачивает мир; эта половинка циркуля, которым меряется длина и ширина жизни. Она садится на сиденье рядом с Вардаманом и кладет на колени сверток.

Вот он входит в хлев. Он не оглянулся.

– Это неправильно, – говорит папа. – Такую малость мог бы ради нее сделать.

– Поехали, – говорит Кеш. – Хочет, пускай остается. Ничего с ним здесь не сделается. А может, к Таллу пойдет, там поживет.

– Он нас нагонит, – говорю я. – Срежет напрямик и встретит нас у Талловой дороги.

– Он бы на коне своем еще поехал, – говорит папа, – если б я не запретил. Пятнистая зверюга, дикая, хуже рыси. Издевательство над ней и надо мной.

Повозка тронулась; запрыгали уши мулов. Позади, в вышине над домом, неподвижные, реют кругами, потом уменьшаются и пропадают.

Анс

Я сказал ему, чтобы уважал покойную мать и не брал коня: неправильно это, форсить на цирковом звере, шут бы его взял, – она ведь хочет, чтобы все мы, кто из ее плоти и крови вышел, были с ней в повозке; и вот, не успели мы Таллову дорогу проехать, Дарл начинает смеяться. Сидит на скамейке с Кешем, покойная мать в гробу лежит у него в ногах, а он смеется. Не знаю, сколько раз я ему говорил, что из-за таких вот выходок люди о нем и судачат. Тебе, говорю, может, наплевать, и сыновья у меня, может, выросли черт знает какие, но мне не все равно, что говорят про мою плоть и кровь, а когда ты такое выкидываешь и люди про тебя судачат, это твою мать роняет – не меня, говорю: я мужчина, мне не страшно; это на женскую половину падает, на твою мать и сестру, ты об них подумай – и нате вам, оглянулся назад, а он сидит и смеется.

– Я не жду, что ты ко мне поимеешь уважение, – говорю ему. – Но у тебя же мать в гробу не остыла.

– Вон. – И головой показывает на поперечную дорогу. Лошадь еще далековато, идет к нам ходко, и кто на ней, мне говорить не надо. Я оглянулся на Дарла, а он сидит и смеется.

– Я старался, – говорю. – Старался сделать так, как она хотела. Господь отпустит мне и простит поведение тех, кого послал мне.

Она лежит в ногах у Дарла, а он сидит на скамье и смеется.

Дарл

Он едет по дорожке быстро, но мы уже в трехстах ярдах от перекрестка, когда он сворачивает на главную дорогу. Из-под мелькающих копыт летит грязь; он сидит в седле легко и прямо, и теперь чуть придерживает коня; конь семенит по грязи.

Талл у себя на участке. Смотрит на нас, поднимает руку. Едем, повозка скрипит, грязь шепчется с колесами. Вернон продолжает стоять. Он провожает глазами Джула; конь бежит словно играючи, высоко поднимая колени, в трехстах ярдах от нас. Мы едем; движемся как во сне, в дурмане, будто не перемещаясь, и кажется, что время, а не пространство сокращается между им и нами.

Она поворачивает под прямыми углами, колеи с прошлого воскресенья уже затянулись: гладкий красный язык лавы, извиваясь, уходит в сосны; белая доска с линиями надписью: «Церковь Новой Надежды, 3 мили». Она наезжает, как неподвижная ладонь над мертвым океаном; за ней дорога – как спица колеса, у которого обод – Адди Бандрен. Тянется навстречу, пустая, без следов, и белая доска отворачивает свое линейное и бесстрастное извещение. Кеш спокойно смотрит на дорогу и поворачивает голову вслед доске, как сова; лицо у него сосредоточенное. Горбатый папа смотрит прямо вперед. Дюи Дэлл тоже глядит на дорогу, потом оборачивается ко мне, в настороженных глазах тлеет отказ, а не вопрос, как у Кеша. Доска позади; дорога без следов тянется. Потом Дюи Дэлл отворачивает лицо. Скрипит повозка.

Кеш плюет через колесо.

– Дня через два запахнет, – говорит он.

– Это ты Джулу скажи, – говорю я.

Теперь он остановился, выпрямившись сидит на коне у перекрестка, наблюдает за нами, неподвижный, как указатель, поднявший навстречу ему свою надпись.

– Для долгой дороги он плохо уравновешен, – говорит Кеш.

– И это ему скажи, – говорю я. Повозка скрипит дальше.

Через милю он обгоняет нас; поводья подобрал, и конь, выгнув шею, идет быстрой иноходью. Джул сидит в седле легко, надежно, прямо, лицо деревянное, порванная шляпа лихо заломлена. Он проезжает быстро, не взглянув на нас, конь бодр, грязь шипит под копытами. Лепешка грязи, отброшенная копытом, шлепается на гроб. Кеш наклоняется вперед, достает что-то из ящика с инструментами и аккуратно ее соскребает. Когда дорога пересекает Уайтлиф и ветлы склоняются над нами, он отламывает ветку и оттирает пятно мокрыми листьями.

Анс

Тяжело человеку в этом краю; тяжело. Восемь миль трудового пота смыто с Господней земли, а ведь Господь Сам велел его тут пролить. Нигде в нашем грешном мире не разжиться честному работающему человеку. Это – для тех, которые в городских магазинах сидят, пота не проливают, а кормятся с тех, которые проливают трудовой пот. Это – не для трудового человека, не для фермера. Иногда думаю, почему не бросим? Потому что в небесах нам будет награда, а они туда свои автомобили и другое добро не возьмут. Там все люди будут равны, и кто имеет, у того отнимется, и дано будет Господом тому, кто не имеет.

Но похоже, что этого долго ждать. Чтобы заработать свою награду за праведность, человек себя мытарить должен и своих мертвецов, – хорошо ли это? Ехали весь день, в сумерки добрались до Самсона, а моста и там уж нет. Они никогда не видели, чтобы река так поднялась, – а дождь-то еще не перестал. Старики не видали и не слыхали, чтобы такое было на памяти людской. Меня избрал Господь, потому что кого Он любит, того наказывает. Но чудными же способами извещает он об этом человека, ей-ей.

Но теперь я вставлю зубы. Это будет утешением. Будет.

Самсон

Это было как раз перед закатом. Мы сидим на веранде, а по дороге подъезжает повозка, их в повозке пятеро, а один сзади верхом. Кто-то из них поднял руку, но проехали мимо магазина и не остановились.

– Кто это? – спрашивает Маккалем. – Забыл его имя... ну, Рафа близнец – это он был.

– Бандрены, из-за Новой Надежды. – Квик отвечает. – А под Джулом конь из тех сноповских лошадок.

– Не знал, что они тут еще водятся, – говорит Маккалем. – Я думал, вы все-таки исхитрились их раздать.

– Поди возьми его, – говорит Квик.

А повозка проехала. Я говорю:

– Могу спорить, эту ему папаша Лон не за так отдал.

– Да, – говорит Квик. – Папа ему продал. – А повозка едет дальше. – Они, поди, не слышали про мост, – говорит Квик.

– А что они тут делают? – спрашивает Маккалем.

– Да, видно, жену похоронил и отпуск себе взял. – Квик говорит. – В город, видно, едет, а Таллов мост у них залило. И про этот, значит, не слышали?

– Тогда им лететь придется. – Я говорю. – Думаю, что отсюда до устья Ишатовы ни одного моста не осталось.

Что-то у них было в повозке. Но Квик ездил на заупокойную службу три дня назад, и нам, конечно, в голову не могло прийти ничего такого, – ну разве поздновато из дому отправились да про мост не слышали.

– Ты бы им крикнул, – говорит Маккалем. Черт, на языке вертится имя.

Квик крикнул, они остановились, он пошел к повозке и объяснил. Возвращается вместе с ними. Говорит: «Они едут в Джефферсон. Возле Талла моста тоже нет». Будто мы сами не знаем, и нос как-то морщит, а они сидят себе – Бандрен с дочкой и малец спереди, а Кеш и другой, про которого судачат, на доске у задка, и еще один на пятнистом коньке. Наверно, они уже принялись: когда я сказал Кешу, что им опять придется ехать мимо Новой Надежды, и как им выгодней поступить, он только одно ответил:

– Ничего, доберемся.

В чужие дела лезть не люблю. Каждый пусть сам решает, как ему быть, – такое мое мнение. Но когда мы с Речел поговорили о том, что специалист покойницей их не занялся, а у нас, мол, июль и все такое, я пошел к амбару и хотел про это с Бандреном поговорить.

– Я ей дал обещание. – Он мне в ответ. – Она так решила.

Я заметил, что ленивый человек, которого с места не стронешь, если уж двинулся, то пойдет и пойдет, как раньше сидел и сидел, – словно бы ему не так противно двигаться, как тронуться и остановиться. И если появляется трудность, мешает ему двигаться или сидеть, он этой трудностью даже гордится. Анс сидит на повозке, сгорбившись, моргает, мы рассказываем ему про то, как быстро моста не стало и как высоко вода поднялась, а он слушает, и, ей-богу, вид у него такой, как будто гордится этим, как будто он сам сделал наводнение.

– Значит, такой высокой воды вы никогда не видели? – говорит. – На все воля Божья, – говорит. – К утру она вряд ли сильно спадет.

– Ночуйте здесь, – я говорю, – а завтра с утра пораньше отвезете к Новой Надежде.

Мне этих мулов отошавших стало жалко. А Речел я сказал: «Ты что же, хотела, чтобы я прогнал их на ночь глядя, за восемь миль от дома? Что мне было делать-то? – спрашиваю. – Всего на одну ночь – поставят ее в сарае, а на рассвете уедут».

Ну и говорю ему:

– Оставайтесь здесь на ночь, а завтра пораньше везите обратно к Новой Надежде. Лопат у меня хватит, а ребята поужинают и могут заранее вырыть, если захотят, – и вижу, его дочка на меня смотрит. Если бы у ней не глаза были, а пистолеты, я бы сейчас не разговаривал, – прямо прожигают меня, честное слово. А потом пришел к сараю, – они там расположились, – слышу, дочка говорит, не заметила, как я подошел. Говорит:

– Ты ей обещал. Она не хотела умирать, пока ты не пообещал. На твое слово понадеялась. Если обманешь ее, Бог тебя накажет.

– Никто не может сказать, что я не держу слово. – Бандрен отвечает. – У меня душа всем открытая.

– Какая у тебя душа, не знаю. – Она говорит. Говорит быстро, шепотом. – Ты ей обещал. Должен сделать. Ты... – Потом увидела меня и замолчала; стоит. Если бы они были пистолетами, я бы сейчас не разговаривал. Ну и опять завел про это речь, а он говорит:

– Я ей дал обещание. Она так хочет.

– Но мне сдается, для нее же лучше, если мать похоронят близко, и она сможет...

– Я Адди дал обещание. – Он говорит. – Она так хочет.

Тогда я сказал, чтобы закатили ее в сарай, потому что дождь опять собирается, – а ужин скоро будет готов. Но они входить не захотели.

– Благодарствую, – говорит Бандрен. – Мы стеснять вас не хотим. В корзинке у нас кое-что есть. Мы обойдемся.

– Ну, раз ты так печешься о своих женщинах, – говорю, – я тоже пекусь. Когда мы есть садимся, а наши гости за стол не идут, моя жена считает это за оскорбление.

Тогда его дочка пошла на кухню помогать Речел. А потом Джул ко мне подходит.

– Конечно. – Я говорю. – Натаскай ему с сеновала. Мулов накормишь и ему дай.

– Я хочу тебе заплатить, – говорит.

– За что? – спрашиваю. – Что же я, человеку корма для коня пожалею?

– Я хочу тебе заплатить. – Он говорит; мне послышалось: «лишнего».

– Чего лишнего? – спрашиваю. – Он что, зерна и сена не ест?

– За лишний корм. Я даю ему больше и не хочу, чтобы он у чужих одалживался.

– У меня, парень, ты корм покупать не будешь. – Я говорю. – А если он может всю клеть сожрать, завтра утром я помогу тебе погрузить мой сарай в повозку.

– Он никогда ни у кого не одалживался. Я хочу за него заплатить.

А меня подмывало сказать: если бы мои хотения исполнялись, тебя бы тут вообще бы не было. Но я только одно сказал:

– Тогда самое время ему начать. У меня ты корму не купишь.

Речел накрыла ужин, а потом с его дочкой стала стелить постели. Но в дом никто из них не пошел. Говорю ему:

– Она уже столько дней мертвая, что ей эти глупости ни к чему. – Я не меньше любого уважаю покойников, но уважать-то надо самих покойников, и если женщина четыре дня лежит в гробу, самое лучшее к ней уважение – похоронить ее поскорей.

А они не желают.

– Это будет неправильно. – Бандрен говорит. – Конечно, если ребята хотят лечь, я с ней один посижу. Не могу я ей в этом отказать.

Когда я вернулся туда, они сидели на корточках вокруг повозки.

– Пускай хоть мальчонка пойдет в дом, поспит, – говорю. – Да и ты бы пошла, – говорю его дочке. Не хотел я вмешиваться в их дела. И ей тоже вроде ничего плохого не сделал.

– Он уже спит, – говорит Бандрен. Они его уложили в корыто в пустом стойле.

– Ну так ты иди, – говорю ей. А она молчит. Все сидят на корточках. И едва их разглядишь. – А вы, ребята? – спрашиваю. – Завтра у вас трудный день.

И немного погодя Кеш отвечает:

– Благодарствую. Мы обойдемся.

– Не хотим быть в тягость. – Бандрен говорит. – Благодарим покорно.

Так и остались сидеть на корточках. Принюхались, наверно, за четыре-то дня. А Речел – нет.

– Это безобразие, – говорит. – Безобразие.

– А что ему делать? – спрашиваю. – Он ей слово дал.

– Да про него разве речь? Кому он нужен? – А сама плачет. – Чтобы ему, и тебе, и всем вам... Мучаете нас при жизни и над мертвыми издеваетесь, таскаете туда и сюда...

– Ну полно, полно, – говорю. – Ты расстроилась.

– Не прикасайся ко мне! Не прикасайся ко мне!

Ну разве может человек их понять? Вот я прожил с одной пятнадцать лет, и будь я проклят, если понял. Я представлял себе, что между нами могут встать самые разные вещи, но будь я проклят, если думал, что это будет тело, четыре дня как мертвое, притом женское. А они сами себе портят жизнь, не принимая то, что она нам преподносит, – в отличие от мужчин.

И вот я лежал, слышал, как начинается дождь, думал о том, что они сидят там на корточках вокруг повозки, а дождь стучит по крыше, думал о том, как плакала Речел, – покуда не стало казаться, что слышу ее плач до сих пор, хотя она уже спала, что чую этот запах, хотя знал, что чутя его не мог. И уже понимать перестал, пахнет или нет, и не чудится ли мне запах только потому, что о нем знаю.

А наутро я туда не пошел. Я слышал, как они запрягали, и, когда понял, что они вот-вот выедут, вышел из дому и пошел по дороге к мосту; оттуда услышал, как повозка выехала со двора и повернула назад, к Новой Надежде. Воротился домой, а Речел набросилась на меня за то, что ушел и не позвал их завтракать. Ну кто их разберет? Только решишь, что они хотят одного, тут же понимаешь все наоборот, да еще, черт возьми, взбучку получишь за то, что не так ее понял.

А запах я все равно как бы слышал. Тогда я решил, что его уже нет, а просто знаю о нем – бывает иногда, что так обманываешься. Но когда подошел к амбару, понял, что ошибаюсь. Вошел и вижу, там кто-то сидит. Вроде на корточках, и сперва я подумал, что кто-то из них остался, а потом разглядел, кто это. Гриф. Он оглянулся, увидел меня и заковылял по проходу – ноги враспырку, крылья развесил и оглядывается на меня то через одно плечо, то через другое, как лысый старик. Вышел вон и полетел. Ему долго пришлось лететь, чтобы в воздух подняться, – толстый, тяжелый и весь дождем пропитан.

Если уж им так надо в Джефферсон, могли бы поехать кругом, через Маунт-Вернон, как Маккалем. Верхом он будет дома послезавтра. Оттуда им до города восемнадцать миль. Но, может быть, увидит, что и этого моста нет, и образумится, придет в рассудок.

Маккалем этот. Двенадцать лет уже мы с ним подторговываем. Мальчишкой его знал; имя его знаю, как свое. Но, убей меня Бог, не могу вспомнить.

Дюи Дэлл

Завиднелась доска с надписью. Сейчас она смотрит по дороге в ту сторону, потому что может ждать. Она скажет: Новая Надежда, 3 мили. Новая Надежда, 3 мили. Новая Надежда, 3 мили. И тогда начнется дорога, завьется, в рощу уйдет, будет ждать, пустая, и скажет: Новая Надежда, три мили.

Я слышала, что мама умерла. Жалко, что некогда было дать ей умереть. Жалко, что некогда было пожалеть, что некогда. Это потому, что в буйной возмущенной земле слишком скоро слишком скоро слишком скоро. Не потому, что я не хотела и не хочу, а потому, что слишком скоро слишком скоро слишком скоро.

Теперь сказала: Новая Надежда, три мили. Новая Надежда, три мили. *Вот что значит – чрево времени: отчаяние и мука раздвигающихся костей, жестокий пояс, в котором заключена возмущенная внутренность событий.* Когда мы приближаемся, голова Кеша поворачивается, его бледное, печальное, сосредоточенно застывшее лицо вопросительно поворачивается за пустым и рыжим изгибом дороги; у задка едет верхом Джул, глядя прямо вперед.

Земля убегает из глаз Дарла; они сливаются в булабочные головки. Они начинают с моих ног, поднимаются по телу к лицу, и вот на мне уже нет платья: сижу голая над медлительными мулами, над их потугами. *А если попрошу его повернуть? Он сделает, как я скажу. Ты же знаешь, сделает, как я скажу.* Однажды я проснулась, и подо мной неслась черная пустота. Я ничего не видела. Я увидела, как поднялся Вардаман, подошел к окну и вонзил в рыбу нож; кровь хлынула, зашипела, как пар, но я ничего не видела. *Он сделает, как я скажу. Всегда делал. Я могу убедить его в чем угодно. Могу, ты же знаешь. Если скажу: «Поворачивай».* Это было, когда я умерла в тот раз. *Что, если скажу? Мы поедem к Новой Надежде. Нам не придется ехать в город.* Я поднялась, выдернула нож из рыбы, из шипящей крови и убила Дарла.

В ту пору когда я спала с Вардаманом у меня однажды был кошмар я думала что не сплю но ничего не видела и ничего не чувствовала не чувствовала под собой кровати не могла подумать кто я такая не могла подумать что я девушка и даже не могла подумать «Я» подумать что хочу проснуться и даже вспомнить от чего пробуждаются ведь без этого не проснешься и что-то проходило но я не знала что не могла подумать о времени а потом вдруг поняла это был ветер он дул на меня он как будто налетел и сдул меня оттуда где было так что меня нет сдул комнату и спящего Вардамана и всех их опять под меня и все дул словно ленту прохладного шелка тянули поперек моих голых ног.

Прохладный, он дует из сосен с печальным ровным шумом. Новая Надежда. Было 3 мили. Было 3 мили. Я верю в Бога. Я верю в Бога.

– Папа, почему мы не поехали к Новой Надежде? – спрашивает Вардаман. – Мистер Самсон сказал, мы едем туда, а мы проехали поворот.

Дарл говорит:

– Смотри, Джул. – Но смотрит не на меня. Смотрит на небо. Гриф застыл там, словно прибит гвоздем.

Мы сворачиваем на Таллову дорогу. Проезжаем сарай и едем дальше, колеса шепчутся с грязью, проезжаем зеленые ряды хлопка на буйной земле, а Вернон в поле, с плугом. Когда мы проезжаем, он поднимает руку и долго еще стоит, глядя нам вслед.

– Смотри, Джул, – говорит Дарл. Джул сидит на коне, оба они будто вырезаны из дерева, смотрят вперед.

Я верю в Бога, Боже. Боже, я верю в Бога.

Талл

Когда они проехали, я отпряг мула, повесил цепи на плуг и пошел за ними. Они сидели на повозке у края дамбы. Анс сидел и смотрел на мост – а видны были только его концы, потому что середина провисла в воду. Смотрел так, как будто все время думал, что люди врут и мост не залило, но и надеялся все время, что это правда. Как бы с приятным удивлением смотрел и жевал губами, сидя на повозке в воскресных штанах. Выглядел вроде лошади, которую наряжали, а не почистили: не знаю.

Мальчик смотрел на середину моста, где над ним проплывали бревна и всякая всячина; мост дрожал и шатался, словно вот-вот развалится, а он смотрел большими глазами, как будто сидел в цирке. И сестра его. Когда я подошел, она на меня оглянулась – глаза загорелись сердито, словно я собрался ее потрогать. Потом поглядела на Анса, а потом опять на воду.

Она почти залила дамбу с обеих сторон, земля скрылась, кроме языка перед мостом, и если не знать, как раньше выглядела дорога и мост, ни за что не скажешь, где была река, а где земля. Только желтая муть, и дамба шириной с обушок ножа, и мы сидели перед ней – кто на повозке, кто на коне, кто на муле.

Дарл смотрел на меня, а потом Кеш обернулся и посмотрел с таким выражением, как в тот вечер, – будто примерял в уме к ней доски, прикидывал длину, а тебя не спрашивал, что ты думаешь, и как бы даже не собирался слушать, если вдруг сам захочешь сказать, но на самом-то деле слушал. Джул не шевелился. Он сидел на коне, чуть подавшись вперед, а лицо у него было такое же, как вчера, когда они с Дарлом проезжали мимо моего дома, возвращались за ней.

– Если бы его не залило, мы бы могли переехать, – говорит Анс. – Переехали бы на ту сторону.

Иногда через затор протискивалось бревно и, поворачиваясь, плыло дальше, а мы наблюдали, как оно подплывает к тому месту, где был брод. Оно задерживалось, вставало поперек течения, на секунду высывалось из воды, и по этому ты догадывался, что брод был здесь.

– Ничего не значит. – Я говорю. – Может быть, там намыло зыбучего песку. – Мы наблюдаем за бревном. Девушка опять смотрит на меня.

– А Уитфилд там переправился, – говорит она.

– Верхом, – отвечаю. – И три дня назад. С тех пор на полтора метра поднялась.

– Если бы мост не закрыло, – говорит Анс.

Бревно высывается и плывет дальше. Много сора и пены, и слышно воду.

– А его закрыло, – говорит Анс.

Кеш говорит:

– Если осторожно, то можно перебраться по доскам и бревнам.

– Но перенести уж ничего не сможешь, – говорю я. – И кто его знает, может, только ступишь, вся эта свалка тоже тронется. Как думаешь, Дарл?

Он смотрит на меня. Ничего не говорит; только смотрит чудными глазами – из-за этого взгляда люди о нем и судачат. Я всегда говорю: не в том дело, что он выкинул, или сказал, или еще чего-нибудь, а в том, как он на тебя смотрит. Вроде внутрь к тебе залез. Вроде смотришь на себя и на свои дела его глазами. Снова чувствую, что девушка взглянула на меня так, словно я собираюсь ее потрогать. Она говорит что-то Ансу. «...Уитфилд...» – говорит она.

– Я дал ей обещание перед Господом. – Анс говорит. – Я думаю, беспокоиться не надо.

Но не трогается с места. Мы сидим над водой. Еще одно бревно выбирается из затора и плывет вниз; мы наблюдаем, как оно застревает и медленно поворачивается там, где был брод. Потом плывет дальше.

– Может, завтра к вечеру спадать начнет, – говорю я. – Потерпели бы еще день.

Тут Джул поворачивается на коне. До сих пор он не шевелился, а сейчас поворачивается и смотрит на меня. Лицо у него как бы с зеленцой, потом делается красным, потом опять зеленеет.

– Иди отсюда к чертовой матери, – говорит он, – паши там. Какого черта ты за нами таскаешься?

– Я ничего плохого не хотел сказать.

– Замолчи, Джул, – говорит Кеш. Джул опять смотрит на воду, желваки вздулись, лицо – то красное, то зеленое, то красное. – Ну, – немного погодя говорит Кеш, – что делать собираешься?

Анс не отвечает. Сидит сгорбившись, жуёт губами.

– Если бы не залило, могли бы переехать, – говорит он.

– Поехали, – говорит Джул и трогается с места.

– Погоди, – говорит Кеш. Он смотрит на мост. Мы смотрим на Кеша – все, кроме Анса и дочки. Они глядят на воду. – Дюи Дэлл, Вардаман и папа, вы идите пешком по мосту, – говорит Кеш.

– Вернон может их проводить, – говорит Джул. – А мы пристегнем его мула перед нашими.

– Моего мула ты в воду не поведешь, – говорю я.

Джул смотрит на меня. Глаза – как осколки тарелки.

– Я плачу тебе за мула. Прямо сейчас покупаю.

– Мой мул в воду не пойдет, – говорю я.

– Джул с конем своим идет, – говорит Дарл. – Почему ты за мула боишься, Вернон?

– Замолчи, Дарл, – говорит Кеш. – И ты, Джул, оба замолчите.

– Мой мул в воду не пойдет, – говорю я.

Дарл

Он сидит на коне, свирепо глядя на Вернона, лицо у него покраснело от подбородка до корней волос, глаза светлые, жесткие. В то лето, когда ему было пятнадцать лет, у него сделалась спячка. Однажды утром я пошел кормить мулов и увидел, что коровы еще не выгнаны; потом услышал, что папа вернулся к дому и зовет его. Когда мы возвращались завтракать, он прошел мимо нас с молочными ведрами, спотыкаясь, как пьяный, а когда мы запрягли мулов и выехали в поле, он только доил. Мы поехали без него, а он и через час не появился. Днем Дюи Дэлл принесла нам есть, и папа отправил ее искать Джула. Его нашли в хлеву: он спал, сидя на табуретке.

После этого папа стал приходить по утрам и будить его. Джул засыпал над ужином, а после сразу шел спать, и, когда я ложился в постель, он лежал там как мертвый. И все равно папе приходилось будить его по утрам. Джул поднимался, но ничего не соображал: молча выслушивал папины упреки и жалобы, брал молочные ведра и шел в хлев; однажды я его там застал: он спал, привалившись головой к боку коровы, под выменем стояло наполовину полное ведро, а руки у него висели, в молоке до запястий.

После этого доить стала Дюи Дэлл. Он по-прежнему поднимался, когда папа его будил, делал, что мы ему велели, – как опоенный, и старался словно бы, и сам недоумевал.

– Ты захворал? – спрашивала мама. – Тебе нездоровится?

– Нет, – отвечал Джул. – Я здоров.

– Обленился просто, отца из себя выводит, – говорил папа, а Джул стоял и будто спал на ногах. – Так, что ли? – будил Джула, требовал ответа.

– Нет, – отвечал Джул.

– Отдохни сегодня, посиди дома, – говорила мама.

– Когда вся низина еще не вспахана? – говорил папа. – Коли не хвораешь, так что с тобой?

– Ничего. Здоров я.

– Ничего? – говорил папа. – Да ты сейчас стоя спишь.

– Нет. Здоров я.

– Я хочу, чтобы он сегодня посидел дома, – говорила мать.

А папа:

– Он мне нужен. Спасибо, если все-то управимся.

– Придется вам с Кешем и Дарлом налечь, – говорила мама. – Я хочу, чтобы он посидел дома.

А он отказывался: «Я здоров», – и шел с нами. Но он не был здоров. Это все видели. Он худел, и я замечал, что он засыпает с мотыгой; видел, как мотыга движется все тише и тише,

поднимается все ниже и ниже, а потом совсем замрет, и он, опершись на нее, тоже застынет в жарком мареве.

Мама хотела позвать доктора, но папа не хотел понапрасну тратить деньги, а Джул в самом деле был на вид здоров – если не считать худобы и того, что засыпал на каждом шагу. Ел он хорошо – только мог заснуть над тарелкой, не донеся хлеб до рта, и дожевывал во сне. Божился, что здоров.

Доить за него мама пристроила Дюи Дэлл, – как-то платила ей, – и домашнюю работу, которую он делал до ужина, тоже переложила на Дюи Дэлл и Вардамана. А когда не было папы, делала сама. Она готовила ему особую еду и прятала для него. Так я узнал, что Адди Бандрен может таиться, а ведь она нас всегда учила: обман – это такая штука, что там, где он завелся, ничто уже не покажется чересчур плохим или чересчур важным – даже бедность. Случалось, когда я приходил спать, она сидела в темноте возле спавшего Джула. Я знал, что она проклинает себя за обман и проклинает Джула за такую любовь к нему, из-за которой должна заниматься обманом.

Однажды ночью она заболела, и, когда я пошел в сарай, чтобы запрячь мулов и ехать к Таллу, я не мог найти фонарь. Я вспомнил, что прошлым вечером видел его на гвозде, а теперь он куда-то делся. Я запряг в темноте, – была полночь, – поехал и на рассвете вернулся с миссис Талл. Фонарь – на месте, висит на гвозде, где я давеча искал его. А потом, как-то утром, перед восходом солнца Дюи Дэлл доила коров, и в хлев вошел Джул, – вошел через дыру в задней стенке, с фонарем в руке.

Я сказал Кешу, и мы с Кешем посмотрели друг на друга.

– Гон у него, – сказал Кеш.

– Ладно. А зачем фонарь-то? Да еще каждую ночь. Как тут не отощать? Ты ему что-нибудь скажешь?

– Без толку, – ответил Кеш.

– А от шлянья его тоже не будет толку.

– Знаю. Но он должен сам это понять. Дай срок, сам сообразит, что никуда оно не денется, что завтра будет не меньше, чем сегодня, – и он опамятуется. Я бы никому не говорил.

– Ага. И я Дюи Дэлл сказал, чтобы не говорила. Маме хотя бы.

– Да. Не надо маме.

Тогда все это мне стало казаться потешным: и что он такой смущенный и старательный, что ходит как лунатик и отощал до невозможности, и что считает себя таким хитрецом. Мне любопытно было, кто девушка. Я перебирал всех, кого знал, но так и не смог догадаться.

– Никакая не девушка, – сказал Кеш. – Там замужня женщина. Больно лиха да вынослива для девушки. Это мне и не нравится.

– Почему? – спросил я. – Для него безопасней, чем девушка. Рассудительней.

Он поглядел на меня; глаза его нащупывали, и слова нащупывали то, что он хотел выразить:

– Не всегда безопасная вещь в нашей жизни – это...

– Хочешь сказать, безопасное – не всегда самое лучшее?

– Вот, лучшее, – сказал он и опять стал подбирать слова. – Это не самое лучшее, не самое хорошее для него... Молодой парень. Противно видеть... когда вязнут в чьей-то чужой трясине... – Он вот что пытался сказать. Если есть что-то новое, крепкое, ясное, там должно быть что-то получше, чем просто безопасность: безопасные дела – это такие дела, которыми люди занимались так давно, что они поистерлись и растеряли то, что позволяет человеку сказать: до меня такого никогда не делали и никогда не сделают.

Мы никому не рассказывали, даже после того, как он стал появляться на поле рядом с нами, не зайдя домой, и брался за работу с таким видом, будто всю ночь пролежал у себя в постели. За завтраком он говорил маме, что не хочет есть или что уже поел хлеба, пока

запрягал. Но мы-то с Кешем знали, что в такие ночи он вообще не бывал дома и на поле к нам выходил прямо из лесу. И все-таки мы не рассказывали. Лето шло к концу; ночи станут холодными, и, если не он, так она скажет: шабаш.

Настала осень, долгие ночи, но все продолжалось, с той только разницей, что по утрам он лежал в постели и поднимал его папа – такого же обалделого, как в самом начале, и был он теперь дурнее, чем летом, когда шлялся до утра.

– Ну и выносливая, – сказал я Кешу. – Я ей удивлялся, а теперь прямо уважаю.

– Это не женщина.

– Все-то ты знаешь, – сказал я. А он наблюдал за моим лицом. – Кто же тогда?

– А вот это я и собираюсь узнать.

– Можешь таскаться за ним всю ночь по лесу, если хочешь. Я не хочу.

– Я за ним не таскаюсь. – Он сказал.

– А как это называется?

– Я за ним не таскаюсь. Я по-другому хочу.

И вот через несколько дней я услышал, как Джул встал с постели и вылез в окно, а потом услышал, как Кеш встал и вылез за ним. Утром я пошел в сарай, а Кеш уже там, мулы накормлены, и он помогает Дюи Дэлл доить. И когда я увидел его, я понял, что он все узнал. Я заметил, что он иногда странно поглядывает на Джула, как будто, узнавши, куда ходит Джул и чем занимается, он только тут и задумался всерьез. А посматривал он без тревоги; такой взгляд я замечал у него, когда он делал за Джула какую-то работу по дому, про которую папа думал, что ее делает Джул, а мама думала, что делает Дюи Дэлл. И я ни о чем не спросил его – надеялся, что, переваривши это, он сам мне скажет. А он так и не сказал.

Однажды утром – в ноябре, через пять месяцев после того, как это началось, – Джула в постели не оказалось, и в поле он к нам не пришел. Вот тут только мама и начала понимать, что происходит. Она послала Вардамана искать Джула, а немного погодя пришла к нам сама. Как будто, пока обман шел тихо-мирно, мы все позволяли себя обманывать, соучаствовали по неведению, а может, по трусости, потому что все люди трусы и всякое коварство им больше по сердцу – ведь видимость у него нежная. А теперь мы все – будто телепатически согласившись признать в своем страхе – сбросили с себя лукавство, словно одеяло на кровати, и сели голенькие, глядя друг на друга и говоря: «Вот она, правда. Он не пришел домой. С ним что-то случилось. И мы это допустили».

А потом увидели его. Он появился у канавы и повернул к нам, напрямик, через поле, – верхом. Грива и хвост у коня развевались, словно в движении они разметывали пятнистый узор шкуры; казалось, он едет на большой вертушке, с какими бегают дети, – без седла, с веревочной уздечкой и непокрытой головой. Конь происходил от тех техасских лошадок, которых завез сюда двадцать пять лет назад Флем Снопис и распродал по два доллара за голову – поймать свою сумел только Лон Квик, но подарить потом никому уже не сумел, так что кровь ее сохранилась.

Джул подскакал к нам и остановился, сжав пятками ребра коня, а конь плясал и вертелся так, как будто форма гривы, хвоста и пятен на шкуре не имела никакого отношения к мясному и костяному содержанию; Джул сидел и смотрел на нас.

– Где ты взял лошадь? – спросил папа.

– Купил. У мистера Квика.

– Купил? На что? Под мое слово купил?

– На свои деньги, – сказал Джул. – Я их заработал. Можешь не волноваться.

– Джул, – сказала мама, – Джул.

– Все правильно, – сказал Кеш. – Деньги он заработал. Расчистил шестнадцать гектаров новой земли у Квика – те, что он разметил прошлой весной. Один работал, по ночам, с фонарем. Я его видел. Так что конь никому, кроме Джула, ничего не стоил. По-моему, нам не из-за чего волноваться.

– Джул, – сказала мама. – Джул... – Потом она сказала: – Сейчас же иди домой и ложись спать.

– Нет, – сказал Джул. – Некогда. Мне еще нужно седло и уздечку. Мистер Квик сказал...

– Джул, – сказала мама, глядя на него. – Я дам... я дам... дам... – И заплакала. Заплакала горько, не пряча лица – стояла в линялом халате и глядела на него, а он глядел на нее с коня, и лицо у него постепенно сделалось холодным и больным, он отвел взгляд, а к маме подошел Кеш и тронул ее за руку.

– Иди домой, – сказал Кеш. – Тебе нельзя тут, земля сырая. Ну, иди.

Тогда она закрыла лицо руками, постояла немного и пошла, спотыкаясь о борозды. Она не оглядывалась. У канавы остановилась и позвала Вардамана. Он стоял возле коня, смотрел на него и приплясывал.

– Джул, дай прокатиться, – сказал он. – Джул, дай прокатиться.

Джул туго натягивал повод; он посмотрел на Вардамана и опять отвел взгляд. Папа наблюдал за ним, жамкая жвачку.

– Значит, ты купил лошадь, – сказал он. – Тайком от меня купил лошадь. Со мной не посоветовался; ты знаешь, как нам туго приходится, и купил лошадь мне на шею. Свалил работу на родных и за их счет купил лошадь.

Джул посмотрел на папу, и глаза у него были еще светлее, чем всегда.

– Твоего он горсти не съест. Горсти. Я его убью вперед. И не думай даже. Не думай.

– Джул, дай прокатиться, – сказал Вардаман. – Джул, дай прокатиться. – Голос, словно кузнечик в траве, маленький. – Джул, дай прокатиться.

В ту ночь я застал маму у его кровати. Она плакала в темноте, плакала горько, может быть, потому, что приходилось плакать тихо; может быть, потому, что плакала, как обманывала – проклиная себя за это, проклиная его за то, что приходится плакать. И тогда я понял то, что понял. Понял это так же ясно, как потом другое – про Дюи Дэлл.

Талл

В конце концов они заставили Анса сказать, чего он хочет, и он с дочкой и мальчиком вылез из повозки. Уж мы к мосту подошли, а он все оглядывался, словно думал, что стоит ему вылезти из повозки, и все это рассеется, и он опять очутится у себя на поле, а она будет лежать и ждать смерти у себя на кровати, и все придется начинать сызнова.

– Отдал бы ты им мула, – говорит он, а мост дрожит и шатается под нами, он уходит в быструю воду так, словно выйти должен на другой стороне земли, а другой конец – будто и не от этого моста, и те, кто выберется из воды на другом берегу, вылезут из глубины земной. Но мост был цел – чувствовалось по тому, что наш конец шатался, а другой – будто бы нет: будто тот берег и деревья на нем медленно качались, как маятник больших часов. А бревна били и скребли по затопленной части, вставали торчком, совсем выскакивали из воды, ныряли в гладкую, пенную, стерегущую круговорот и уносились к броду.

– А какой от него толк? – Я спросил. – Если твои мулы брода не найдут и не перетащат повозку, что толку в третьем муле или в десяти мулах?

– Я у тебя не прошу, – он говорит, – я всегда сам обойдусь. Я не прошу тебя рисковать мулом. Покойница ведь не твоя; я тебя не упрекаю.

– Им вернуться надо и до завтра потерпеть. – Я говорю.

Вода была холодная. Она была густая, как снежная слякоть. Только как будто живая. Ты и понимал вроде, что это просто вода, та же самая, что многие годы текла под мостом, но когда она выплевывала бревна, ты не удивлялся – они как будто были частью воды, ее стерегущей угрозы.

Удивился я только тогда, когда мы переправились, вышли из воды и встали на твердую землю. Мы словно и не ожидали, что мост достанет до того берега, до чего-то укрощенного, до твердой земли, которую мы исходили ногами и хорошо знали. Неужели я мог попасть сюда? Неужели хватило глупости полезть в эту прорву? А когда поглядел назад, увидел моего мула на другом берегу, где я сам стоял недавно, и подумал, что мне еще надо вернуться туда, я понял, что этого быть не могло – ни за какие коврижки я и раз не прошел бы по мосту. И однако – вот я где, и если кто может пройти по мосту второй раз, то кто-то другой, а не я – даже если Кора прикажет.

И все из-за мальчонки. Я сказал: «А ну дай мне руку», – и он дождался меня и дал. Да нет, черт возьми: получилось, что будто бы вернулся за мной; будто сказал: невредимым пройдешь. Будто рассказывал про чудесное место – там что ни день, то праздник, и зимой, и летом, и весной, и если за него буду держаться, тоже не пропаду.

Я посмотрел на мула, словно в подозрную трубу посмотрел: я увидел через мула весь простор земли и посредине мой дом, взошедший на поте – словно чем больше пота, тем просторней земля; чем больше пота, тем крепче дом, потому что крепкий нужен дом для Кору, иначе не удержит Кору – как кувшин молока в студенном роднике: крепкий имей кувшин или же нужен сильный родник, ну а коли родник большой, так есть для чего заводить крепкие, надежные кувшины – потому что молоко-то – твое, хоть кислое, хоть какое, потому что молоко, которое может скиснуть, интересней того, которое не киснет, потому что ты – мужчина.

Он держал меня за руку, а рука у него горячая и уверенная, так что хотелось сказать: Смотри-ка. Видишь вон там мула? Ему здесь делать было нечего, вот он и не пошел, ведь он мул всего-навсего. Человек иногда понимает, что у детей больше разума, чем у него. Но он им в этом не признается, пока у них не отрастет борода. Когда борода отросла, они чересчур озабоченные, потому что не знают, смогут ли вернуться туда, где у них разум был, а бороды не было; тут-то тебе нетрудно признаться людям, так же беспокоящимся о том, о чем беспокоиться не стоит, что ты – это ты.

И вот перешли мы, стоим и смотрим, как Кеш разворачивает повозку. Видим, как он едет по дороге назад, к тому месту, где от дороги к броду отходит колея. Скоро повозка скрылась из виду.

– Надо пойти к броду, помочь если что. – Я сказал.

– Я дал ей слово, – говорит Анс. – Для меня оно свято. Я знаю, ты недоволен, но она благословит тебя на небесах.

– Ладно, – говорю, – им сперва надо сушу обогнуть, чтобы в воду броситься. Пошли.

– Возвращаются, – говорит он. – Плохая примета – возвращаться.

Сгорбленный и печальный, он стоял и смотрел на пустую дорогу, а перед ним дрожал и шатался мост. И девушка стояла – через одну руку корзинка с едой, под другой – прижатый к боку сверток. В город собрались. Решили бесповоротно. Сквозь огонь и воду пройдут, чтобы съесть пакет бананов.

– Надо было день потерпеть. – Я сказал. – К утру бы немного спала. Может, ночью дождя не будет. А выше ей подниматься некуда.

– Я обещание дал, – говорит он. – Она надеется.

Дарл

Темный, густой поток бежит перед нами. Неумолчным тысячеголосым шепотом разговаривает с нами; желтая гладь – в жутких рябинах недолговечных водоворотов; немо и многозначительно они сплывают по течению и пропадают, словно под самой поверхностью что-то громадное и живое лениво пробудилось на миг и снова погрузилось в чуткий сон.

Он хлопает и бормочет среди спиц и в коленях у мулов. Покрытый жирными косами пены как потный, взмыленный конь. Сквозь кустарник проходит с жалобным звуком, задумчивым звуком; тростник и молодая поросль гнутся в нем, как от маленькой бури, они лишены отражений и колышутся, словно подвешенные на невидимой проволоке к сучьям наверху. И стоят над неугомонной водой деревья, тростник, лозы без корней, отрезанные от почвы, – призраками среди громадной, но не бескрайней пустыни, оглашаемой ропотом напрасной, печальной воды.

Мы с Кешем сидим в повозке; Джул – на коне у правого заднего колеса. С длинной розовой морды коня дико смотрит младенчески-голубой глаз, а конь дрожит и дышит хрипло, будто стонет. Джул подобрался в седле, молчит, твердо и быстро поглядывает по сторонам, и лицо у него спокойное, бледноватое, настороженное. У Кеша тоже серьезный, сосредоточенный вид; мы с ним обмениваемся долгими испытующими взглядами, и они беспрепятственно проникают сквозь глаза в ту сокровенную глубину, где сейчас Кеш и Дарл бесстыдно и настороженно пригнулись в первобытном ужасе и первобытном предчувствии беды. Но вот мы заговорили, и голоса наши спокойны и бесстрастны.

– Похоже, что мы еще на дороге.

– Талл додумался спилить здесь два дуба. Я слышал, раньше в паводок по этим деревьям брод находили.

– Два года назад он здесь лес валил, тогда, наверно, и спилил дубы. Не думал, верно, что брод еще кому-нибудь понадобится.

– Наверно. Тогда, должно быть, и спилил. Он тут порядком заготовил леса. По закладной им расплатился, я слышал.

– Да, наверно, так. Наверно, он спилил.

– Точно, он. Кто лесом у нас пробавляется, им, чтобы лесопилку кормить, крепкая ферма нужна в подспорье. Или же лавка. Но с Вернона станет.

– Могло стать. Чудной.

– Да. Это есть. Ага, здесь она наверно. Если бы старую дорогу не расчистил, нипочем бы лес не вывез. Кажись, мы на ней. – Он молча оглядывает расположение деревьев, наклонившихся в разные стороны, смотрит назад, на дорогу без полотна, смутно намеченную в воздухе сваленными голыми стволами, – словно и дорога отмокла от земли, всплыла, запечатлев в своем призрачном очерке память о разорении еще более основательном, чем то, которое мы наблюдаем сейчас с повозки, тихо разговаривая о былой исправности, о былых мелочах. Джул смотрит на него, потом на меня, потом обводит спокойным пытливым взглядом окрестность, а конь тихо дрожит у него между коленями.

– Он может потихоньку проехать вперед и разведать дорогу, – говорю я.

– Да, – отвечает Кеш, не глядя на меня. Лицо его повернуто: Джул уже впереди, и Кеш смотрит ему в спину.

– Мимо реки не проедет, – говорю я. – За пятьдесят шагов ее увидит.

Кеш не смотрит на меня, его лицо повернуто в профиль.

– Если б знать, я бы на прошлой неделе приехал, все обглядел.

– Тогда мост был, – говорю я. Он на меня не смотрит. – Уитфилд проехал по нему верхом. Джул снова смотрит на нас, и выражение лица у него серьезное, внимательное, послушное. Голос тих:

– Что мне надо делать?

– Приехал бы на прошлой неделе и все обглядел, – говорит Кеш.

– Откуда же мы знали, – говорю я. – Не могли мы этого знать.

– Я поеду вперед, – говорит Джул. – Вы двигайтесь за мной.

Он подбадривает коня. Конь съежился, повесил голову; Джул наклоняется к нему, что-то говорит и, кажется, силком посылает вперед; конь дрожит, шумно дышит и шатко переставляет ноги, расплескивая воду. Джул разговаривает с ним, шепчется:

– Иди. Я тебе плохого не сделаю. Ну, иди.

– Джул, – говорит Кеш. Джул не оглядывается. Он подбадривает коня.

– Он умеет плавать, – говорю я. – Если не будет коня торопить...

Он родился слабенький. Мама, бывало, сидит при лампе и держит его на подушке, на коленях. Проснемся, она сидит. И оба – ни звука.

– Подушка длиннее его была, – говорит Кеш. Он чуть наклонился вперед. – Чтобы мне съездить на прошлой неделе и поглядеть. Надо было.

– Правда, – говорю я. – Ни ногами, ни головой не доставал до краев. Да разве ж ты знал?

– Надо было съездить. – Он подбирает вожжи. Мулы тронулись, натянули постромки; ожили колеса, залопотали в воде. Он оборачивается и смотрит сверху на Адди.

– Равновесия нет.

Наконец деревья расступаются; распахнулась река, перед ней, полуобернувшись на коне, сидит Джул, а конь по брюхо в воде. За рекой мы видим Вернона, папу с Вардаманом и Дюи Дэлл. Вернон машет нам, показывает вниз по течению.

– Выше брода заехали, – говорит Кеш.

Вернон еще и кричит, но мы не можем расслышать слова из-за шума воды. Тут глубоко, течение ровное, спокойное, и его не ощущаешь даже, пока не появится, медленно вращаясь, бревно.

– Следи за ним, – говорит Кеш.

Мы следим: оно будто споткнулось, замерло на секунду, вода вспухает позади него густой волной, накрывает его, потом оно вдруг выскакивает и несется дальше.

– Там, – говорю я.

– Да. Там.

Мы опять смотрим на Вернона. Теперь он машет руками по-птичьи. Медленно и осторожно мы спускаемся вдоль реки и наблюдаем за Верноном. Он уронил руки.

– Здесь брод, – говорит Кеш.

– Ну так поехали, черт возьми, – говорит Джул и трогается.

– Постой, – говорит Кеш.

Джул остановился.

– Какого еще черта...

Кеш смотрит на воду, потом опять на Адди.

– Равновесия нет.

– Тогда идите к чертям на мост и пешком перебирайтесь, – говорит Джул. – Оба, с Дарлом. Вместо вас сяду.

Кеш не обращает на него никакого внимания.

– Равновесия нет, – говорит он. – Вот что. Надо за ним следить.

– Чего там следить, – говорит Джул. – Слезайте, я сяду. Боишься ехать, так... – Глаза у него белые, как две стружки. Кеш смотрит на него.

– Переедем, – говорит он. – Слушай, что надо делать. Ехай обратно, перейди по мосту, спустись тем берегом и встречай нас с веревкой. Вернон заберет твоего коня домой и подержит, пока не вернемся.

– Иди ты к лешему, – говорит Джул.

– Возьми веревку, спустись тем берегом и жди. Тут от троих не больше толку, чем от двоих – один правит, другой это вот придерживает.

– Да ну тебя к черту.

– Пускай Джул возьмет конец веревки, идет выше нас и натягивает, – говорю я. – Сделаешь, Джул?

Джул пристально смотрит на меня. Взглянул на Кеша и снова на меня – глаза внимательные и строгие.

– Мне – один черт. Лишь бы делать. Расселись здесь, только воду в ступе толчем...

– Кеш, давай, а? – говорю я.

– Придется, пожалуй, – говорит Кеш.

Сама река в ширину – шагов сто, и, кроме папы, Вардамана и Дюи Дэлл, ничто не нарушает однообразия пустыни, почти незаметно, но жутко накренившейся справа налево – словно мы достигли места, где опустошенный мир ускоряет свой бег к последней бездне. А фигурки их – крохотные. Словно разделяет нас с ними уже не пространство, а время – и в этом есть безвозвратность. Словно время не уходит от нас сужающейся чертой, а пролегло между ними и нами, сложившись вдвое, петлей, как веревка, и разделяет нас не промежуток между двумя ветвями, а вся их удвоенная длина. Мулы уже стоят, наклонясь: плечи ниже крупов. Они тоже не дышат, а будто стонут; оглянулись, скользнули по нам взглядом, диким, печальным, глубоким и полным отчаяния, будто в густой воде они прозревают несчастье, но не могут сказать – а мы его не видим.

Кеш перегнулся назад. Положил ладонь на Адди и пробует качнуть. Опушенное лицо его спокойно и озабоченно, он что-то прикидывает, потом берет ящик с инструментами и сдвигает вперед, загоняет под сиденье; вдвоем мы сдвигаем вперед и Адди, заклиниваем ее между инструментами и дном повозки. Потом он поворачивается ко мне.

– Нет, – говорю я. – Лучше останусь. Один можешь не управиться.

Из ящика с инструментами он достает свернутую веревку, дважды обводит ее вокруг стойки сиденья и, не завязав, дает конец мне. Длинный конец стравливает Джулу, и Джул захлестывает его за луку седла.

Он должен загнать коня в реку. Конь идет, высоко поднимая колени, выгнув шею, нервничает. Джул чуть подался вперед и приподнял колени; снова его быстрый, внимательный, спокойный взгляд скользнул по нам и по окрестности. Он направил коня в поток и успокаивает его тихим голосом. Конь поскользнулся, ушел в воду до седла, но поднялся на ноги; вода достигает Джулу до бедер.

– Аккуратней, – говорит Кеш.

– Я на перекате, – говорит Джул. – Трогай.

Кеш подобрал вожжи и умело, осторожно направляет мулов в реку.

Я ощутил хватку течения и понял, что мы на броде; только по этой скользкой тяге и можно было определить, что мы вообще движемся. То, что казалось плоской поверхностью, стало чередой гребней и впадин, колыхалось вокруг нас, толкало нас, дразнило, легко и лениво трогая в мгновения обманчивой прочности под ногами. Кеш оглянулся на меня, и тогда я понял, что мы пропали. Но сам не знал, зачем нужна веревка, пока не увидел бревно. Оно вынырнуло и на миг стало стоймя над вздыбленными водами, как Христос. Вылазь, тебя отнесет к излучине, сказал Кеш. Выберешься. Нет, сказал я, что там, что здесь, одинаково промокну.

Бревно вдруг выскакивает между двух волн, словно выстрелило со дна реки. На конце его, как стариковская или козлиная борода, – длинный клочок пены. Когда Кеш заговорил со мной, я понял, что он следил за бревном все время, – следил за бревном и следил за Джулом, который впереди нас шага на три.

– Пусти веревку, – говорит Кеш. Он опускает свободную руку и в два оборота отматывает веревку от стойки. – Вперед, Джул, попробуй протащить нас раньше бревна.

Джул кричит на коня; снова он будто посылает его коленями. Конь сейчас на самом гребне переката, какая-то опора у него есть: влажно лоснясь над водой, он бросается вперед и

с плеском делает несколько прыжков. Он движется с неправдоподобной быстротой: по этому Джул наконец догадывается, что веревка отпущена; вижу, как он натянул поводья, повернув к нам лицо, а бревно тяжелым броском вдвигается между нами, наплывает на мулов. Они тоже его видят: лоснящиеся их бока тоже на миг появились над водой. Потом нижний исчезает и утаскивает за собой второго; повозку разворачивает наискось, но она еще держится на перекате; бревно ударяет в повозку и накрывает ее, задирает ей передок. Кеш сидит полуобернувшись, одной рукой туго натягивает вожжи, а другой прижимает Адди к высокому борту повозки.

– Прыгай, – спокойно говорит он. – Мулов сторонись, иди по течению. Тебя вынесет на излучине.

– И ты прыгай, – говорю я.

Вернон с Вардаманом бегут вдоль берега, папа и Дюи Дэлл стоят и смотрят на нас, у Дюи Дэлл в руках корзина и сверток. Джул старается повернуть коня. Появляется голова одного мула с широко раскрытыми глазами; он глядит на нас и издает почти человеческий звук. Голова его опять исчезает.

– Назад, Джул, – кричит Кеш. – Назад.

Еще мгновение я вижу, как он нагнулся в накренившейся повозке, обхватив рукой Адди и свои инструменты; вижу, как бородатая голова бревна снова ударяет в повозку; а Джул вздергивает коня, голова у коня завернута назад, и он бьет по голове кулаком. Я спрыгиваю по течению. Между двумя волнами еще раз вижу мулов. Они по очереди показываются из воды, перекачиваются кверху брюхом, и ноги у обоих жестко вытянуты, как в ту минуту, когда из-под них ушла земля.

Вардаман

Кеш старался но она выпала и Дарл прыгнул в воду ушел под воду Кеш кричал Лови и я кричал бежал и кричал и Дюи Дэлл кричала мне Вардаман Вардаман Вардаман а Вернон обогнал меня он видел что она всплыла а она опять нырнула в воду и Дарл никак не мог ее поймать.

Он вынырнул чтобы оглядеться я кричу лови ее Дарл лови и он не показывался потому что она тяжелая а надо было ловить ее я кричал лови ее дарл лови ее дарл потому что в воде она плавает быстрее человека и Дарлу надо было ловить ее я знал что он может поймать потому что он самый лучший ловильщик хотя мулы были у него на пути они вынырнули выкатились прямыми ногами вверх покатались дальше спинами вверх и Дарлу пришлось снова потому что в воде она плавает быстрее людей и я обогнал Вернона а он не полез в воду помогать Дарлу он знал что с Дарлом поймал бы ее но не захотел помогать.

Мулы опять вынырнули прямыми ногами вверх и ноги медленно легли на воду потом опять Дарл и я кричал лови ее дарл лови ее тяни ее к берегу дарл а Вернон не хотел помогать а потом Дарл увернулся от мулов и поймал ее под водой и пошел к берегу шел медленно потому что она боролась в воде хотела остаться под водой но Дарл сильный он шел медленно я знал что он держит ее потому что он шел медленно и я забежал в воду помочь а сам кричу потому что Дарл был сильный и крепко держал ее под водой хотя она боролась он ее не отпускал он меня видел и он ее удержит теперь все в порядке все в порядке все в порядке.

Потом он выходит из воды Идет долго и медленно рук еще не видно но она должна быть у него должна быть иначе я не вынесу. Потом показываются его руки и весь он над водой. Я не могу перестать. Мне некогда заставить себя. Я заставляю когда смогу но он выходит из воды с пустыми руками вода с них льется вода.

– Где мама, Дарл? Ты не поймал ее. Ты знал, что она рыба, и дал ей уплыть. Ты не поймал ее, Дарл. Дарл. Дарл. – Я снова побежал по берегу и увидел, что мулы медленно всплыли и опять ушли под воду.

Талл

Рассказал я Коре, как Дарл спрыгнул с повозки, а Кеш остался и старался ее спасти, и повозка стала опрокидываться, как Джул почти уже у берега стал заворачивать коня назад, но конь не хотел, на это у него ума хватало, – а она говорит:

– И ты еще твердил заодно с другими, что Дарл у них чудной, что Дарл простоватый, а у него-то как раз хватило ума соскочить с повозки. Анс, между прочим, еще смекалистее – вовсе на нее не сел.

– Ну сел бы он – что пользы-то? – Я говорю. – У них все ладно шло, и переправились бы, если б не бревно.

– Бревно. Чепуха. Это рука Божья.

– Тогда почему глупостью это называешь? – Я спрашиваю. – От руки Божьей никто не охранился. Да и охраняться – святотатство.

– А против нее зачем переть? – спрашивает Кора. – Ты мне вот что объясни.

– Анс и не пер. И ты же его за это упрекаешь.

– Ему там полагалось быть. – Кора отвечает. – Был бы мужчиной, там бы сидел, не ввалил бы на сыновей, чего сам боялся.

– Не пойму, чего тебе все-таки надо. То говоришь, против воли Божьей поперли, то Анса ругаешь, что с ними не сел.

Тогда она опять запела, нагнувшись над корытом, и лицо у нее сделалось такое певческое, словно она поставила крест на людях и глупости людской и пошла себе дальше, – с песнями шагает в небо.

Повозка там долго еще держалась, река набухла за ней, ссовывала ее с брода, а Кеш клонился все ниже и ниже, старался удержать гроб, чтобы он не сквырнулся набок и не завалил повозку. Когда повозка наклонилась как следует и река уже могла прикончить ее, бревно поплыло дальше. Оно обогнуло повозку и пошло вниз, да ходко так, что твой пловец. Как будто было послано сюда для дела и, сделавши дело, поплыло дальше.

Когда мулы оторвались, я подумал, что Кеш сумеет удержать повозку. Казалось, он и повозка совсем не двигаются, а только Джул воет с конем, чтобы вернуть его к повозке. Потом мимо меня пробежал мальчонка, он кричал Дарлу, и за ним гналась сестра, а потом я увидел, как мулы медленно прокатились по воде, растопыря прямые ноги, словно еще упирались вверх ногами, и снова закатились под воду.

Потом повозка опрокинулась, а потом она, и Джул, и конь – все смешалось вместе. Кеш, вцепившись в гроб, скрылся в воде, а конь так бился и плескался, что я уже ничего не мог разглядеть. Я подумал, что Кеш бросил гроб, сам спасается, и стал кричать Джулу, чтобы он вернулся, но вдруг он вместе с конем тоже ушел под воду, и я подумал, что всех теперь утянет. Я понял, что коня тоже снесло с брода и хорошего ждать нечего: конь тонет, бьется, повозка перевернута, гроб невесть где, – и не успел я опомниться, как сам стою по колено в воде и кричу назад Ансу: «Видишь, что ты наделал? Видишь, что ты наделал?»

Конь показался. Он плыл к берегу, закинув голову, а потом я увидел, что кто-то из них цепляется за седло с той стороны, – ниже по течению, и побежал по берегу, смотреть, где Кеш – Кеш-то плавать не умеет. «Где Кеш?» – Джулу кричу как полоумный, ничем не лучше их мальчика: тот стоит пониже и кричит Дарлу.

И вот зашел я в воду так, чтобы ил меня еще держал, и вижу Джула. Он по пояс в воде, – значит, на броне, – и сильно наклонился против течения, а потом вижу у него веревку, вижу: вода бугром над повозкой: он держит ее под самым перекатом.

Так что это Кеш висел на коне, а конь, плескаясь, выкарабкивался на берег, и кряхтел, и стонал, все равно как человек. Когда я подошел, он только что кончил лягаться: оторвал от себя Кеша. Кеш соскользнул обратно в воду и на секунду перевернулся вверх лицом. Оно было серое, с длинным нахлыстом грязи, а глаза закрыты. Потом он ослаб, и его перевернуло. Он болтался у берега, как связка старых одежек. Лежал в воде ничком, покачивался и как будто разглядывал что-то на дне.

Мы видели, как веревка режет воду, чувствовали, как за ней возится и елозит всей своей тяжестью повозка – лениво, нехотя, – а веревка режет воду, твердая, словно железный прут. С шипом режет, словно раскаленная докрасна. Как будто железный прут вкопали в дно, а мы держимся за конец, и повозка подпрыгивает лениво и вроде как подталкивает, подпихивает нас, словно оказалась у нас за спиной, – и ни туда ни сюда, ворочается только, никак не решит, куда ей податься. Проплыл подсвинок, раздутый как пузырь: из пятнистых свиней Лона Квика. Налетел на веревку, словно на железный прут, его отбросило, потом понесло дальше, а мы следили за веревкой, косо уходившей в воду. Следили за ней.

Дарл

Кеш лежит на земле лицом вверх, под головой у него свернутая одежда. Глаза закрыты, лицо серое, волосы гладким лоскутом прилипли ко лбу, точно нарисованы кистью. Кожа на лице провисла под костяными выступами орбит, носа, десен, будто потеряла от воды упругость, придававшую лицу полноту; зубы в бледных деснах не сжаты, как будто он тихо смеется. Худой как щепка, он лежит в мокрой одежде; рядом с головой лужица рвоты, изо рта к ней тянется нитка – он даже не успел повернуть голову; Дюи Дэлл наклоняется и вытирает ему лицо подолом платья.

Подходит Джул. У него рубанок.

– Вернон нашел угольник. – Джул смотрит сверху на Кеша, и с него тоже течет. – Не заговорил еще?

– При нем была пила, молоток, шнур и угольник, – отвечаю я. – Это точно.

Джул кладет угольник. Папа наблюдает за ним.

– Они где-то недалеко, – говорит папа. – Все вместе утонули. Надо же быть таким невезучим человеком.

Джул на папу не смотрит.

– Лучше позови оттуда Вардамана, – говорит он. Смотрит на Кеша. Потом поворачивается и отходит. – Сделайте, чтобы он поскорее заговорил, – пусть скажет, что еще при нем было.

Мы возвращаемся к реке. Повозка вытащена на берег, стоит прямо у воды, и под колеса положены колодки (аккуратно: мы все помогали; казалось, что в знакомых, неподвижных очертаниях бедной повозки затаилось, но вовсе не умерло буйство стихии, убившей мулов, которые тащили эту повозку лишь час назад). А он лежит в повозке веско, длинные светлые доски чуть потускнели от воды, но желты по-прежнему, как золото под слоем воды, только перечеркнуты двумя грязными полосами. Мы проходим мимо и останавливаемся на берегу.

Веревка привязана к дереву. Перед стремниной по колени в воде, чуть наклонившись вперед, стоит Вардаман и увлеченно наблюдает за Верноном. Он мокрый до подмышек и уже не кричит. Вернон – у другого конца веревки, по плечи в воде; оглядывается на Вардамана.

– Где-то дальше, – говорит он. – Иди к дереву и поддержи мне веревку, чтобы не оторвалась.

Вардаман вслепую пятится по веревке к дереву, следит за Верноном. Мы подошли, он глянул на нас круглыми, немного ошалелыми глазами и опять смотрит на Вернона, увлеченно подавшись вперед.

– Молоток я тоже подобрал, – говорит Вернон. – И шнур пора бы уж найти. Уплыл, наверно.

– Давно уплыл, – говорит Джул. – Не найдем. А пила здесь где-то.

– Пожалуй, – говорит Вернон. Он смотрит в воду. – Так, шнур. Что еще с ним было?

– Он пока не говорит, – отвечает Джул и входит в воду. Оглядывается на меня. – Поди приведи его в чувство, пусть скажет.

– Там папа, – говорю я. Вслед за Джулом я вхожу по веревке в воду. Под рукой у меня она как живая – выгнулась длинной, пологой, звучащей дугой. Вернон за мной наблюдает.

– Шел бы ты туда, – говорит он. – При нем побудь.

– Может, еще что вынем, пока не унесло, – отвечаю я.

Мы держимся за веревку, вокруг наших плеч – рябь и вороночки. Но под этой обманчивой кротостью на нас наваливается вся ленивая сила потока. Я не думал, что в июле вода может быть такой холодной. Кажется, она руками мнет и тискает самые наши кости. Вернон еще оглядывается на берег.

– Думаете, она всех нас выдержит? – спрашивает он. Мы тоже озираемся, пробегаем взглядом по веревке – твердому пруту, идущему из воды к дереву, под которым, пригнувшись, стоит Вардаман и наблюдает за нами.

– Не удрал бы мой мул домой, – говорит Вернон.

– Давайте, – говорит Джул. – Что встали?

Мы по очереди погружаемся, цепляясь за веревку и придерживая друг друга; холодная стена воды отсасывает обратным током илистый склон у нас из-под ног, и на весу мы шарим по холодному дну. Здесь даже ил не лежит спокойно. Он холодит и моется, словно земля под нами тоже пришла в движение. Осторожно продвигаясь по веревке, мы трогаем и нашариваем руки друг друга; а выпрямившись, видим, как вода вертится и бурлит над нырнувшим. Папа подошел к берегу и наблюдает за нами.

Вынырнул Вернон, с него льет, лицо рыльцем сошло к вытянутым губам. Он пыхтит, и губы синеватые, как кружок обветренной резины. В руке – линейка.

– Он обрадуется, – говорю я. – Совсем новая. В прошлом месяце купил по каталогу.

– Знать бы, что там еще, – говорит Вернон, оглянувшись через плечо, а потом переводит взгляд туда, где скрылся Джул.

– Он ведь раньше меня нырнул? – спрашивает Вернон.

– Не знаю, – отвечаю я. – Вроде да. Да. Да, раньше.

Мы смотрим на густую воду, уносящую от нас медленные завитки.

– Дерни ему за веревку, – говорит Вернон.

– Он с твоей стороны.

– С моей стороны никого.

– Потяни, – говорю я.

Но он уже вытянул ее, держит конец над водой; и тут мы видим Джула. Он в десяти метрах: вынырнул, отдувается и смотрит на нас; встряхнул головой, откинул со лба длинные волосы и посмотрел на берег; мы видим, как он набирает в грудь воздух.

– Джул, – негромко говорит Вернон, но голос его звучно разносится над водой, повелительный и вместе с тем вежливый. – Она должна быть ближе. Вернись сюда.

Джул снова ныряет. Мы стоим, упираясь в потоке, смотрим на то место, где он исчез, и держим повисшую веревку, как двое пожарных держат шланг, дожидаясь воды. Вдруг позади нас в реке возникает Дюи Дэлл.

– Велите ему вернуться, – говорит она. – Джул!

Он опять вынырнул, откинул волосы с глаз. Плышет к берегу, и с такой же быстротой его сносит вниз течением.

– Джул! – говорит Дюи Дэлл.

Мы стоим с веревкой и смотрим, как он подплывает к берегу и вылезает. Поднявшись из воды, он наклоняется и поднимает что-то. Идет вдоль берега. Он нашел шнур. Останавливается напротив нас и озирается, будто продолжая поиски. Папа идет берегом вниз. Хочет еще раз посмотреть на мулов: их круглые тела плавают и тихо трутся друг об друга в заводи за излучиной.

– Вернон, куда ты девал молоток? – спрашивает Джул.

– Ему отдал. – Вернон показывает головой на Вардамана. Вардаман смотрит вслед папе. Потом оглядывается на Джула. – С угольником.

Вернон смотрит на Джула. Джул направляется к берегу, мимо меня и Дюи Дэлл.

– Уходи отсюда, – говорю я. Она не отвечает, смотрит на Джула и Вернона.

– Где молоток? – спрашивает Джул. Вардаман отбегает и приносит молоток.

– Пила легче молотка, – говорит Вернон. Джул привязывает к рукоятке молотка шнур.

– В молотке дерева больше всего, – говорит Джул. Они с Верноном стоят лицом друг к другу. Оба смотрят на руки Джула.

– И плоская, – говорит Вернон. – Ее отнесет раза в три дальше. Попробуй с рубанком.

Джул смотрит на Вернона. Вернон тоже высокий; длинные, тощие, в облипшей мокрой одежде, они стоят нос к носу. Лону Квику стоило только на небо взглянуть – хоть пасмурное – и угадывал время до десяти минут. Не Маленький Лон, а Большой Лон.

– Вылезай ты из воды, – говорю я.

– Он не поплывет, как пила, – говорит Джул.

– Да уж ближе к пиле ляжет, чем молоток, – говорит Вернон.

– Давай спорить, – говорит Джул.

– Не буду, – отвечает Вернон.

Они стоят и оба смотрят на неподвижные руки Джула.

– Черт с тобой, – говорит Джул. – Давай рубанок.

Они берут рубанок, привязывают к нему шнур и снова входят в воду. Папа возвращается по берегу. Останавливается и смотрит на нас, сутулый, печальный, как отставной бык или старая высокая птица.

Вернон и Джул возвращаются на прежнее место, борясь с течением.

Джул говорит Дюи Дэлл:

– Уйди с дороги. Вылезь из воды.

Она немного теснит меня, чтобы уступить им дорогу; Джул несет рубанок высоко, словно боится, что он растает, и голубой шнур тянется за его плечом. Прошли мимо нас и остановились; начинают тихо спорить, на каком месте перевернуло повозку.

– Дарл должен знать, – говорит Вернон. Они смотрят на меня.

– Я не знаю, я там недолго был.

– Черт, – говорит Джул.

Они неуверенно продвигаются, наклоняясь против течения, нащупывают ногами брод.

– За веревку держишься? – спрашивает Вернон.

Джул не отвечает. Смотрит по сторонам: сперва на берег, прикидывая расстояние, потом на реку. Бросает рубанок; шнур бежит между пальцами, оставляя на них голубой след. Но вот шнур остановился, и Джул передает конец его назад, Вернону.

– Давай теперь я, – говорит Вернон.

И опять не отвечает Джул; мы видим, что он нырнул.

– Джул, – пищит Дюи Дэлл.

– Тут не очень глубоко, – говорит Вернон. Он не оглядывается назад. Смотрит на воду, где исчез Джул. Джул выныривает с пилой.

Когда мы проходим мимо повозки, возле нее стоит папа и стирает листьями две грязные полосы. На фоне леса конь Джула выглядит как лоскутное одеяло, висящее на веревке.

Кеш лежит по-прежнему. Мы стоим над ним, держим рубанок, пилу, молоток, угольник, линейку, шнур, а Дюи Дэлл садится на корточки и поднимает Кешу голову.

– Кеш, – говорит она. – Кеш.

Кеш открывает глаза и глубоким взглядом смотрит на наши опущенные лица.

– Не было на свете такого невезучего человека, – говорит папа.

– Смотри, Кеш, – говорим мы и показываем ему инструменты. – Что еще у тебя было?

Он пытается заговорить, поворачивает голову, закрывает глаза.

– Кеш, – зовем мы, – Кеш.

Голову он повернул, чтобы блевать. Дюи Дэлл оттирает ему рот мокрым подолом платья. Теперь он может говорить.

– Разводка для пилы, – объясняет Джул. – Новая, купил вместе с линейкой.

Он поворачивается, уходит, Вернон смотрит ему вслед, не вставая с корточек. Потом поднимается, идет за Джулом к воде.

– Не было на свете такого невезучего человека, – говорит папа. Мы – на корточках, и он возвышается над нами; похож на фигуру, неловко вырезанную из твердого дерева пьяным карикатуристом. – Это испытание, – говорит он. – Но я на нее не сетую. Никто не посмеет сказать, что я на нее посетовал.

Дюи Дэлл опустила голову Кеша на сложенный пиджак и отвернула от рвоты. Рядом с ним лежат его инструменты.

– Можно сказать, ему повезло, что эту же ногу сломал, когда с церкви падал, – говорит папа. – Но я не сетую на нее.

Джул и Вернон снова в воде. Отсюда кажется, что они совсем не нарушили ее поверхности: будто она рассекла их одним ударом и два торса бесконечно медленно, до нелепости осторожно движутся по этой глади. Она кажется безобидной, как большие механизмы, когда привыкнешь к их виду и шуму. Будто сгусток, который есть ты, растворился в первоначальной движущейся жиже и зрение со слухом сами по себе слепы и глухи; ярость сама по себе коснеет в покое. Дюи Дэлл сидит на корточках, и мокрое платье вылепило перед незрячими глазами трех слепых мужчин млекопитающие нелепицы – эти долины и горизонты земли.

Кеш

Равновесия не было. Я им говорил: если не хотите, чтобы перевешивался в езде и на ходу, надо...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.